

[Polaris]

ВЕТА



*НА ВЕРШИНАХ
ЗНАНИЯ*

Русский оккультный роман

Том X

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXVII



Salamandra P.V.V.

ВЕГА

НА ВЕРШИНАХ ЗНАНИЯ

Оккультный роман

Русский оккультный роман
Том X

Salamandra P.V.V.

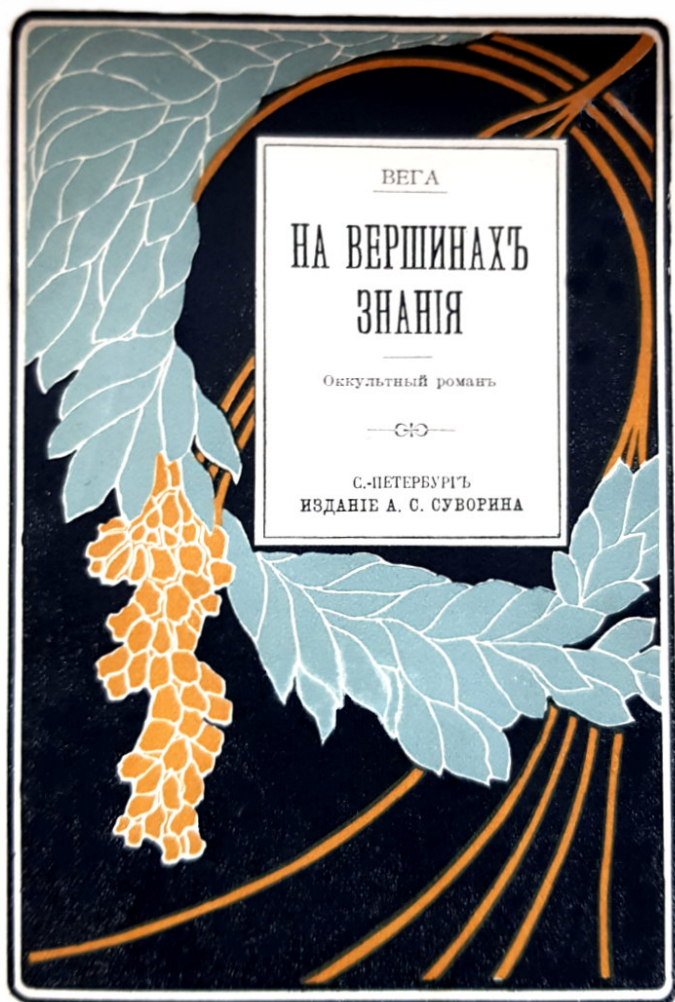
Вега.

На вершинах знания: Оккультный роман. Илл. А. Е. Владимирской (Русский оккультный роман, т. X). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2020. — 210 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXVII).

Роман «На вершинах знания», впервые опубликованный в 1909 году, повествует о роковой схватке между прибывшим в Петербург мудрецом и магом Ибн Фадланом и румынской княгиней Джординеско, вампиром и колдуньей, на чьей стороне — темные силы зла. Но и сам Фадлан не без греха: гордясь своими оккультными познаниями, он приступает к безумным опытам, воскрешая мертвых и материализуя инфернальных лярв. Роман печатается в сопровождении оригинальных иллюстраций.

НА ВЕРШИНАХ ЗНАНИЯ

Оккультный роман



Deva parān raksanti.

Боги охраняютъ героевъ.

Samānī va ākūtiḥ samānā hṛdayāni vaḥ |

Samānām astu vo māno yáthā vaḥ súsahāsati ||

Одинаково ваше намѣреніе, согласны ваши
сердца.

Да будетъ единой ваша мысль, чтобы вмѣстѣ
вамъ стало легко.

Rigveda, XI, 191, 4.

Предлагаемый роман написан с целью познакомить читателя с некоторыми оккультными понятиями и учениями, изложенными в более легкой и доступной форме. Он не представляет собою самостоятельного творчества, но простую переработку трудов многих западно-европейских и восточных оккультистов и герметистов, старых и новых*.

Встречающиеся в книге заклинания приведены частью из творений папы Льва III, другие из рукописных источников, иные взяты из уцелевших гримуаров, иные извлечены из русской оккультной литературы, еще мало известной и неразработанной, но значительно превышающей, по богатству духа и высоте мысли, западноевропейскую.

Тем, кто, гордые знанием нынешней науки, отрицают возможность и действительность описанных в романе явлений — следует помнить слова одного из прославленных жрецов этой науки, R. Virchow'a: «То, что называется естественным законом, изменяется с ежедневным накоплением нового материала».

С.-Петербург
1909.

* E. Levi, Schurel, Lancelin, Larmandie, Шамс-и-Табризи, Саади, Н. Ионов и др.

Съезд у Репиных нынче начался довольно поздно: несмотря на первый час ночи, к особняку на Морской без конца подъезжали кареты, одиночки, моторы и санки. Скрипели полозья, визжали по мерзлому снегу колеса, поминутно хлопали каретные дверцы. Длинный ряд экипажей вытянулся около обеих панелей. В морозном воздухе стоял смешанный гул окриков, топота конских копыт, гудков автомобилей и особенный шорох, всегда сопутствующий крепкому морозу. А два больших костра, зажженных на улице для озябших кучеров, злились и шипели, и застилали едким дымом свою улицу, сообщая картине своеобразный и фантастический вид.



Старая Репина давала бал по случаю совершеннолетия своей внучки, единственного отпрыска угасавшего рода. Зато этот рано осиротевший отпрыск был в своем роде совершенством. Юная внучка обладала редким изяществом, милой грацией и женственностью и вдобавок была единственной наследницей миллионного состояния бабушки.

Бал был, конечно, блестящ, а радушие и гостеприимство хозяйки давно известно. Поэтому сегодня у нее собрался весь Петербург. А так как Репина слыла женщиной не совсем обыкновенной и чуждой предрассудков, — в ее палатах встретились самые разнообразные элементы. Здесь

были представители всевозможных профессий: ученые, адвокаты, доктора, военные, банкиры, артисты, писатели, одним словом, все так или иначе выдающиеся из общего уровня люди. Серьезный разговор мешался с легкой болтовней, политические темы переплетались с ядовитой критикой новейшего литературного произведения. Увлекательный вальс Падуриано, доносившийся из бальной залы, робко примешивал свою певчую волну к аккордам романса, исполняемого автором в отдаленном салоне. Взрыв хохота прерывал размеренные стихи модного поэта. Обворожительные туалеты дам, сладкий запах духов, блестящие мундиры, черные фраки, остроумная болтовня, дразнящая атмосфера флирта, все это давало настроение. Бал нужно было считать вполне удавшимся.

Настоящее и непринужденное оживление, редкий гость нынешних вечеров, царствовало в нарядном белом зале. Как-то особенно хорошо плясалось под оригинальную музыку румын, бывших нынче в большой моде. Опытный дирижер сплетал и расплетал пеструю гирлянду танцующих, искусной рукой запутывая в замысловатые фигуры живой клубок. Молодежь хохотала и веселилась до упаду, как никогда.

Но больше всех веселилась Тата. Разрумяненная и радостная, вся — оживление и порыв, она была живым олицетворением цветущей молодости. Счастливый смех дрожал на пальетках ее платья, искрился в лучистых глазах, таился в пышной прическе, невидимкой летал с надушенного веера. Сколько верст сделали сегодня ее изящные ножки, не справляясь об усталости своей госпожи? Но Тата переходила с рук на руки и без усталости делала бесконечные туры по залу: она была царицей бала по праву своей молодости и красоты.

Старая хозяйка сидела в желтой гостиной, окруженная группой гостей, и разговаривала со своей старинной пансионской подругой Фанни Эргельской, про которую говорили, что она всегда всех и все знает.

— Какой прекрасный съезд сегодня, — сказала Эргель-

ская. — Множество парода, и очень интересного. Твою внучку можно поздравить, *ma chérie!** Ведь это все для нее. Я сейчас была в пале: Тата порхает и кружит головы. Немножко рано... А впрочем, оно, пожалуй, хорошо: раньше перебесится.

— Я еще ожидаю кое-кого. Держу пари, что ты сейчас изумишься... доктора Ибн Фадлана. Восточный мудрец, философ и целитель, как говорят очень многие.

— Ибн Фадлан? Это еще что такое? Я про такого не слышала.

— Я говорила, что ты будешь удивлена. Сегодня он у меня в первый раз. Мы на днях познакомились у Ивановых. Очень интересный мужчина и притом выдающийся ученый, несмотря на свою молодость. Он приехал несколько дней тому назад. Ивановы, оказывается, знали его еще на Востоке. Я тебя удивлю больше: я ожидаю, кроме Фадлана, княгиню Джординеско, тоже очень интересную валашку... Ну... должна тебе сказать, что я лично совершенно ее не знаю!

Эргельская удивленно передернула плечами.

— Как так? Каким образом попала к тебе на бал незнакомая особа? Модное течение? По теперешним временам княжеский титул не совсем достаточная гарантия... *Et bien,*** немножко социализма?

Графиня улыбнулась.

— Неделю тому назад я получила письмо от моей племянницы Адды Непатенской...

— Ее муж при посольстве в Бухаресте?

— Именно. Племянница просила принять участие в княгине Джординеско, ее большой подруге. Молодая женщина, оказывается, приехала в Петербург, никого не знает и, разумеется, скучает; вдова, молода, красива, одинока, богата, чего еще? Путешествует, чтобы рассеяться и забыть мужа, умершего два года тому назад. Подруга Адды, ты понимаешь? Письмо Адды такое сердечное и теплое... Я послала

* Моя дорогая (*фр.*).

** Здесь: вот как (*фр.*).

ей приглашение, не ожидая визита: иногда можно пренебречь официальностями.

— Может быть, еще кто-нибудь из новых? Моя слава живого справочника, кажется, начинает колебаться.

— Можешь успокоиться: кроме экзотического доктора и Джординеско незнакомых. А знакомые не все в сборе: я не вижу здесь Хелмицких. Признаться, меня это несколько не удивляет: они совсем одичали. Молодая Хелмицкая, то есть не Хелмицкая, а Варенгаузен, все еще без ума от своего мужа; впрочем, это у них взаимно... Влюблены друг в друга, как индюки, — образцовое супружество!

— Какая скука!.. Кажется, ты их сосватала?

— Да, я горжусь этим. У меня счастливая рука: их медовый месяц продолжается вот уже второй год.

— Немного долго, *n'est ce pas?**

— Ах, друг мой, для любви нет времени. Они совсем меня забыли, старуху, да и вообще нигде не показываются, настолько заняты друг другом. Но Хелмицкая обещалась все-таки притащить их сегодня ко мне, чему я ни на минуточку не поверила.

— Не пройти ли нам в зал посмотреть, как бесится молодежь?

— Пойдемте, это заражает и молодит.

Репина поднялась с кушетки и, окруженная собеседниками, вышла из салона.

В зале царило полное оживление, уже начинался бесконечный котильон. Посреди сверкающего круга молодых оживленных лиц, обнаженных плеч, легкого газа, кружев и лент, в тучах конфетти и серпантина стояла золоченая колесница с цветами. Оттуда сыпались на танцующих лилии, розы, ландыши и фиалки: бабушка не пожалела своих оранжевых для любимой внучки. Маленькие ножки легко и грациозно скользили по паркету зала, отражавшему в себе тысячи огней. И сами стены старинного дома, казалось, принимали участие в общем веселье.

* Не так ли (*фр.*).

В одном из углов, около большого зеркала, велась не совсем обычная беседа, несколько не гармонировавшая с общей обстановкой. Здесь, облокотясь на стул, стоял пожилой человек со строгим и умным лицом, окаймленным длинной седой бородой. С первого взгляда в нем можно было узнать ученого; впечатление дополнялось целой копной седых волос, нависшей над высоким лбом. Это был известный психиатр и ученый, профессор Моравский. Вокруг него образовался довольно большой кружок, исключительно мужской, со вниманием слушавший его слова. Профессор только что кончил блестящее заключение на тему об оккультизме, и молчание длилось уже несколько минут.

— А магия, профессор? — возобновил беседу один из слушателей, сравнительно молодой человек в черепаховом *pince-nez** и с английским пробором на затылке.

— Это вас смущает, — пожал плечами профессор. — Это и меня смущает. Это ниспровергает все, что знает наша официальная наука. Но... по-моему, магия — не мечта и не фантазия расстроенного мозга. Магия существует. Умейте только отрешиться на минуту от положений, усвоенных наукой нашего момента существования. Мы исходим опытным путем из окружающего и переносим добытые таким путем знания в себя самих. Но люди прошлых времен, — вы понимаете, о чем я говорю? — люди прежних времен исходили из иных положений, черпая их в себе самих. Не мир влиял на них, а они влияли на мир, по крайней мере, они так думали и так верили. А между тем, и теперь существуют факты, перед которыми положительно становишься в тупик. Они объясняли подобные факты очень хорошо... Одним словом, я утверждаю, что магия существует.

— Научно говоря?

— Да, с точки зрения чистой науки.

— Ну, знаете, профессор... при всем моем уважении к вам, я не могу согласиться с вами. Откровенно сказать, мы все так привыкли считать оккультные знания шарлатан-

* Пенсне (*фр.*).

ством! Вы говорите — факты. Имеете ли вы, профессор, знаете ли вы какие-нибудь факты?

— Факты? Наука всегда имела и теперь имеет факты, подтверждающие мое мнение, но только официальные ученые не хотят их видеть. Боже мой! Не так давно мы отвергали животный магнетизм. Шарлатанство, да? А теперь? Ну вот, этот магнетизм не что иное, в сущности, как одна из ветвей старой магии египетских и индийских святилищ, с той только разницей, что официальная наука наклеила ей ярлык гипнотизма. А внушение? А более чем странные феномены спиритизма, которые можно толковать и так, и этак, но которые нельзя отрицать?.. Это не магия? А психометрия?.. А телепатия? Вы требуете фактов, но ведь факты вам бросаются в глаза, они повсюду, и только слепые их не видят.

— Вы ниспровергаете науку!

— Нет, не науку, а то, что носит горделивое название нынешней науки. Осмеливаетесь ли вы утверждать, что знаете все чудеса природы, все силы вселенной? Нет? Тогда в чем же дело? Я помню, когда я читал лекции в академии, в числе моих слушателей был один арабский юноша, изучавший под моим руководством медицину. Не умею вам сказать, как он попал в Петербург, но он был одним из любимых моих учеников. Теперь он, наверное, где-нибудь в Индии. Он мне рассказывал такие странные вещи про своих суффи, факиров, ассасунов, что я много раз сомневался в его правдивости и удивлялся богатству восточного воображения. Но на все мои возражения он отвечал весьма резонно приблизительно так. Ваши знания, говорил он, пошли очень далеко, но только теоретически, так сказать — лабораторно, потому что у вас были средства, которых нам не доставало. Но зато мы, на Востоке, прямые наследники старинных знаний науки Индии и Египта, того, что вы называете знаниями оккультными, потому что они от вас были всегда скрыты. Мы изучаем науку обладания силами, о существовании которых вы не подозреваете. И действительно, я много раз присутствовал у него на таких опытах, пред которыми становилась в тупик вся моя ученость; это были какие-то психические и физические феномены. Этот чело-

век изучал нашу западную науку только для того, чтобы подготовиться к чему-то вроде высшего посвящения, о котором он говорил нехотя и туманно и которое, по его словам, должно было открыть ему таинственное знание, собираемое где-то в глубинах Индии.

— Где же он теперь?

— Я совершенно потерял его из виду. Он кончил курс и уехал. Его имя... Такое странное имя... Да, вот, вспомнил: Ибн... Ибн Фадлан.

Кружок слушателей расступился: к профессору приближалась Репина со свитой своих собеседниц по салону. Рядом с ней шел человек высокого роста, очень элегантный, еще не старый и, во всяком случае, очень хорошо сохранившийся. Темный цвет лица и черные глаза с металлическим блеском выдавали его восточное происхождение. Длинная борода, подстриженная по-ассирийски, придавала ему вид какой-то мистичности и делала еще более необычным его оригинальное лицо. Ему могло быть от тридцати до сорока лет. Впечатление он производил скорее симпатичное; его взгляд как бы притягивал, но принуждал сейчас же опускать глаза. В нем чувствовалась громадная сила, сдерживаемая безграничной добротой.

— Профессор, — сказала Репина, — вы и здесь собрали аудиторию! Вот вам еще один ученый, который не будет лишним среди ваших слушателей. Профессор Моравский, известнейший наш психиатр... доктор Ибн Фадлан...

— Вы?.. Здесь? — изумился профессор. — Я знаю... Мы знакомы.

Фадлан ничем не выразил своего удивления, только слегка поднял брови и взгляд его блеснул сквозь полуопущенные веки.

— Дорогой учитель, — сказал он, — я никак не ожидал, что буду иметь честь встретиться с вами до моего визита к вам.

— Так вы друг друга знаете? — изумилась Репина в свою очередь. — Вот уж воистину, гора с горой не сталкивается.

— Но человек с человеком сходится, — закончил Моравский. — И тем страннее эта встреча, что как раз мы сей-

час говорили о моем давно покинувшем меня ученике и друге.

Хозяйка отправилась дальше, присоединив к своему кружку большинство слушателей профессора. Моравский воспользовался этим, взяв Фадлана под руку, увести его в один из салонов. Это был интимный уголок, весь потонувший в пальмах и цветах. Голубой свет маленького цветного фонарика, увитого плющом и орхидеями, погружал всю комнату в какое-то туманное облачко, скрадывавшее очертания предметов. Здесь никого не было и потому представлялась полная возможность поговорить, что называется, по душе.

Профессор опустился на мягкую козетку, усадив Фадлана рядом с собой.

— Как же это так случилось, дорогой коллега, что вы здесь, в Петербурге? Мне помнится, вы уехали в Индию...

Фадлан не без грусти покачал головой.

— Десять лет непрерывного труда, — сказал он. — Меня обожгло солнце Индии... Кое-какие причины заставили меня вернуться сюда.

Профессор расхохотался.

— Просто-напросто вам надоела ваша Индия, хотя и полная всевозможными чудесами, а?

— Нет, совсем не то, — прервал с усилием Фадлан.

Наступило молчание. Фадлан поник головой и нахмурился. Но профессор смотрел на него с такой любовью и таким участием, что душа доктора размягчилась и он прибавил, как бы говоря сам с собою:

— Я никому не говорил, что жизнь моя разбита. Но вы, дорогой учитель... я не хочу скрывать от вас что-либо. Нескольким лет тому назад я был далеко на Востоке. Я имел несчастье полюбить ребенка. Высокое положение семьи, дикие понятия о неравенстве положений... Ну, меня оттолкнули. Тогда я уехал, был в Индии и со смертью в душе изучал любимую свою науку, стараясь забыть. Мои изыскания привели меня теперь сюда...

Он остановился, не желая продолжать дальше. Профессор понял, что тяжелая тайна душист Фадлана. Он положил

ему руку на плечо и сказал душевным тоном:

— Простите меня: я не знал, что неосторожно разбудил ваши тяжелые воспоминания.

Фадлан схватил руку Моравского и, крепко пожав ее, проговорил дрожащим голосом:

— Вам, дорогой учитель, вам, моему другу, я могу сказать многое, что не могу сказать другим!

Воцарилось молчание; Моравский первым прервал его, желая дать другое направление разговору:

— Вы думаете здесь заняться практикой?

— Как вам сказать? Не рассчитываю. Я достаточно богат, чтобы не думать о доходах. Я буду изучать дальше. И потом... изучение даст мне забвение.

Моравский задумался. Затем вдруг неожиданно и резко спросил:

— Вы все еще продолжаете работать в прежнем направлении?

Фадлан пристально посмотрел на профессора и спросил в свою очередь:

— В каком?

— Вы прекрасно знаете... Я говорю о том времени, когда был свидетелем некоторых ваших опытов в сфере, как вы говорили, потусторонней науки.

— Нужно все изучать...

— И что же? Вы добились результата?

— Да... я почти восстановил забытое.

Любопытство Моравского было тягостным для Фадлана и вынудило его снова переменить тему разговора.

— Как случилось, дорогой профессор, — сказал он, — что вы как раз говорили обо мне, когда мы с милой хозяйкой подошли к вашему кружку? Разве кто-нибудь меня тут знает?

— Вы это сейчас увидите: вот идут те, с которыми я о вас говорил.

Действительно, в салоне появилось несколько человек из давешнего кружка Моравского. Один из вновь пришедших, высокий и плотный блондин, обратился к профессору:

— Вот где вы... А мы ищем вас повсюду; после вашего исчезновения, у нас загорелся жаркий спор, все на ту же тему!

— Господа, вы знакомы? Доктор Ибн Фадлан, о котором я вам говорил. Господин Иванов... Доктор Петерс... Александр Иванович Мартынов... Пилипенко...

Молодые люди раскланялись. Блондин проговорил:

— Мы говорили с профессором о магии.

Фадлан улыбнулся и сказал не без сарказма:

— Дорогой профессор, неужели вы теряете свое время, драгоценное время, для таких пустяков?

Моравский изумился.

— Но ведь вы сами говорили мне прежде, что за этим словом скрывается действительно громадное и могущественное знание?

— Это — загадка, — возразил Фадлан. — Я говорил, это правда; но в молодости, знаете ли, иной раз увлекаешься...

— Дорогой коллега, вы сжигаете ваши корабли. Опыты, которые вы мне показывали...

— Ах, так это-то вы и называете магией?

— Она существует, — резко сказал профессор. — По крайней мере, в восточной науке.

— Позвольте, позвольте, дорогой профессор! Разве есть восточная или западная наука? Наука — это знание, а в знании — истина; но на Востоке ли, или на Западе — истина везде одна.

— Но я ничего не понимаю, — сказал блондин. — Ведь только в Индии факиры производят свои удивительные чудеса, остаются целыми месяцами в могиле и выходят оттуда живыми, выращивают в несколько часов целое растение из семечка... Как это объяснить?

— Бог мой! Вы имеете не меньше феноменов и в вашей Европе, только проходите мимо, не признавая их. Хотя бы, например, вера в привидения, столь распространенная в вашем обществе, ведь вам кажется только глупостью?

В разговор вмешалась молодая Тата Репина, незаметно вошедшая в салон. Все были так заняты интересной беседой, что совершенно не обратили внимания на то, что маленький салон наполнился блестящим обществом. Котильон окончился и теперь, кажется, не было уголка во всем огромном доме, не занятого оживленной и весело болтаю-

щей молодежью.

— Все это страшно интересно, профессор, — сказала Та-та. — Ужасно жаль, что нам не позволено заниматься такими опытами; наш пансионский батюшка говорил, что это грех, и строго запретил вертеть столики, — так было досадно!

— Почему грех? — возразил Моравский. — Вы, должно быть, не знаете, графиня, или, вернее, ваш пансионский батюшка не знает и смешивает магию божественную с магией черной, с волшебством.

— Значит, есть две магии? — снова спросил блондин. — Чем они различаются?

— В средствах — ни в чем. В конечном выводе — во всем. Они обе прибегают к одинаковым средствам, но одна стремится к добру, а другая к злу...

— Так неужели же теперь, в наши дни, есть люди, занимающиеся черной магией?

— Думаю, что да. Только они ходят не в длинных мантиях и не называются больше волшебниками. Впрочем, в этом вопросе мой коллега более сведущ, чем я. Что вы скажете по этому поводу, доктор?

— Черная магия, — определенно сказал Фадлан, — существует во все времена и повсюду.

— Как, и здесь, в Петербурге? Сейчас?

— Не сомневаюсь.

— Не может быть! Это невозможно!

— Однако... Хотя бы, например, вампиризм...

— Как! Вы полагаете, что существуют вампиры? В Петербурге?

— Может быть, даже здесь, в этом доме.

— Это уж чересчур! — вскричало несколько голосов.

Но Фадлан говорил так серьезно, что все сейчас же замолчали, увидя, что он собирается говорить.

— В этом нет ничего странного, — начал Фадлан. — Множество людей самого разнообразного возраста и положения производят на других ужасное действие, которое похоже на любовь, но на самом деле есть далеко не любовь. Это, напротив, чудовищная страсть, от которой объекты ее тщетно

стараются скрыться. Эти несчастные создания притягиваются вампиром, так сказать, вампиризуются; вампир пламенеет любовью и, не обладая тем, кого любит — ищет его и притягивает к себе, — уничтожая тех, кто, к несчастью, владеет предметом его любви. Вампир эгоистичен, вечно неудовлетворен и вечно ищет себе новых жертв... Но помните твердо, что вампир продолжает свою жизнь за счет вашей. Будьте осторожны, тем более, что никто не верит в существование вампиризма. Будьте осторожны, потому что он, и только он, порождает холод, безразличие, вражду, наконец, ненависть между двумя существами, до той поры дорогими друг для друга.

— Но ведь это ужасно! Если то, что вы рассказываете, существует в действительности...

— Оно существует, — возвысил голос Фадлан.

И он прибавил:

— В общем, вампир — это такое существо, которое разрушает чужую жизнь, чтобы продолжать свою. Его жертва для своего спасения должна его убить. Таков закон.

Наступило общее молчание. Его прервал Моравский:

— Но каким же образом можно узнать подобное существо, если встретиться с ним в жизни?

Фадлан не успел ответить, потому что в салон вошло новое лицо, завладевшее сразу общим вниманием.

Эта была молодая женщина приблизительно 26-27 лет, эффектная золотистая блондинка с рыжеватым оттенком пышных волос. Бледное матовое лицо с идеально правильными чертами оживлялось едва заметным румянцем; ее большие светло-голубые глаза имели жестокое и холодное выражение, слегка смягченное длинными ресницами; ее движения, медленные и ленивые, напоминали грацию молодой тигрицы. Высокого роста, дивно сложенная, что подчеркивалось роскошным и со вкусом сшитым туалетом, она производила впечатление львицы, привыкшей к постоянным победам.

— Как их узнать? — повторил Фадлан. — Только так: те, кто их не убивают, — умирают.

Тата, заметив, что все с изумлением смотрят на незнакомую красавицу, догадалась, кто эта незнакомка, и, исполняя обязанности хозяйки дома, направилась к ней, преодолев легкое чувство смущения и прошептала:

— Княгиня Джординеско?

Княгиня, ибо это действительно была она, смело взяла девушку за обе руки и, поцеловав ее, сказала небрежным и покровительственным тоном:

— Ma belle*, вы прелестны! Рассказы вашей кухни так же похожи на действительность, как тень от луны походит на солнце. Я вас сразу узнала... Может быть, вы проведете меня к вашей бабушке?

И, сразу подчинив себе молодую девушку, она вышла вместе с нею из салона.

Фадлан с удивлением проводил глазами новую гостью, все время со вниманием вслушиваясь в тембр ее низкого голоса и как бы ловя ее русскую речь, слегка грассирующую и с неправильным произношением. Взгляд его черных глаз вспыхнул и потух только тогда, когда княгиня удалилась. Он сжал руку Моравского, наклонился к его уху и сказал так, чтобы не слышали другие:

— Профессор, вы обратили внимание на эту даму? Она очень красива. Но эта женщина...

Профессор обернулся к Фадлану.

— Что такое?

— ...Мы сейчас говорили о вампирах. Ну, так вот, эта дама, может быть... даже наверное... эта дама вампир!

Профессор удивленно посмотрел на Фадлана, но ничего не ответил.

II

Несмотря на то, что в одной из зал дома Репиных был устроен открытый буфет, конечно, отличавшийся полным

* Моя красавица (фр.).

изобилием и роскошью, все-таки гостеприимная хозяйка радушно предложила своим гостям лукулловский ужин. В громадной столовой были накрыты отдельные столики, утопавшие в цветах и блестящие фарфором, хрусталем и старинным серебром с фамильными гербами. Было уютно и непринужденно, подобрались соответствующие кружки, каждый находил себе соответствующих партнеров и никто никому не мешал.

Тата Репина, заручившись содействием одной из своих соседок, своей закадычной и доверенной подруги, никем не замеченная, ускользнула из столовой и направилась в уже знакомый нам салон.

В этом салоне за трельяжем, густо увитым красивыми ползучими растениями, под широколиственной старой пальмой стояла маленькая козетка, казалось, предназначенная для тихого шепота признаний и робких поцелуев. Если место для объяснения было выбрано удачно, то еще удачнее было и время. Все находились в столовой и любопытнейшему из смертных не пришлось бы в голову заглянуть в этот час в отдаленный полуосвещенный салон.

Но Тату ожидали. На козетке сидел Сережа Щигловский, герой ее маленького романа. Он был красив, носил английский пробор, не совсем глуп, хорошо воспитан и безукоризненно говорил по-французски. Лицейский мундир очень шел к его красивой фигуре, и Тата относилась к нему не так безразлично, как к остальной молодежи, увивавшейся вокруг нее на вечерах. Правда, эти вечера до сих пор были исключительно детские, в лучшем случае для подростков, но все же Тата достаточно искусилась в известном направлении и в совершенстве умела владеть искусством флирта.

Все же это было ее первым свиданием, о котором они с Щигловским условились за котильоном. Поэтому юное ее сердечко билось скорее обыкновенного и яркий румянец залил щеки при входе в салон.

Щигловский поднялся ей навстречу. Тата остановилась со смущенным видом и опустила глаза.

— Татьяна Петровна... Татьяна Петровна, — сказал Щиг-

ловский и запутался.

Он чувствовал себя довольно глупо. Ему не приходилось бывать на подобных свиданиях. Он вовсе не рассчитывал, что дело обернется так скоро. В пылу котильона все это казалось очень легко и удобно; вырвались легкомысленные слова, а Тата оказалась чересчур смелой и податливой.

— Татьяна Петровна! — повторил Щигловский и снова замолчал.

Из полуопущенных ресниц Таты блеснул огонек. Ей неудержимо хотелось рассмеяться.

— Татьяна Петровна...

— Боже мой! Я знаю, что я Татьяна Петровна, — сказала Тата: — вы мне твердите это уже в третий раз и на разные тона. Может быть, у вас есть и четвертый, и пятый, и так без конца. Неужели вы думаете, что это так интересно?

Щигловский потупился и окончательно смутился. Тата пришла ему на помощь.

— Вы меня звали, и я пришла. Сядем здесь, вот на эту козетку: посмотрите, как здесь хорошо.

Она опустилась на козетку.

— Садитесь сюда, рядом со мной.

Но козетка была очень маленькая и Щигловский не решился принять приглашение,

— Какой он смешной! Вы меня боитесь? Я не кусаюсь, — усмехнулась Тата. — Садитесь же. Вот так...

Они сели бок о бок, совсем близко друг к другу. Близость молодого благоухающего тела опьяняла Щигловского, он чувствовал, что вся его благовоспитанность готова улетучиться с минуты на минуту.

Он стал смелее.

— Татьяна Петровна, я не ожидал такого счастья. Вы, блестящая и гордая Тата... И вы здесь, со мной, в этом обворожительном tête-à-tête!

— Это все, что вы хотели мне сказать? Или будет еще что-нибудь?

Щигловский рассердился.

— Вы невозможны, Тата! Если вы зажимаете мне рот и не даете сказать ни слова...

Тата ударила его по руке своей длинной перчаткой.

— Во-первых, не злитесь! А во-вторых, кто дал вам право называть меня Татой! Разве мы так близки?

Щигловский поймал ударившую его перчатку и сказал почти грубо:

— Право?.. Захватное право. Это модно.

Тата взглянула на Щигловского и испугалась.

Глаза его блестели, весь вид его был слишком красноречив. Она сделала движение, чтобы встать, но было уже поздно. Щигловский обнял ее и его дыхание обожгло ее обнаженные плечи.

— Оставьте... Как вы смеее!

— Противная Тата!

И Тата ответила долгим поцелуем на жгучий поцелуй Щигловского, которому не помешала его известная всему Петербургу благовоспитанность.

— Но... Довольно... Будем благоразумны, — опомнилась Тата. — Отойдите от меня... Дальше. Вот так. А теперь будем говорить.

Щигловский, смущенный и сконфуженный, стоял у дверей, а Тата села опять на козетку.

Ей показалось, будто за трельяжем что-то хрустнуло. Она невольно обернулась.

— Что такое? Что с вами, Тата? — заметил Щигловский ее движение.

— П у а *quelqn'un ici... Econtez!*

Щигловский насторожился.

— *Vraiment?.. Mais qui done?**

И вдруг из-за трельяжа раздался легкий смешок и низкий контрольный голос проговорил с оттенком иронии и сарказма:

— Будем благоразумны, *n'est pas? C'est prudent*. Однако, мы не совсем благоразумны. *Voyons, ma petite*: если мы пойдем так дальше, то, пожалуй, перестанем быть детьми**.

* Там кто-то есть. Прислушайтесь! — В самом деле?.. Но кто же? (*фр.*).

** ...не так ли? Это осмотрительно. ...Полноте, моя милочка (*фр.*).



Из-за трельяжа медленно выступила обворожительная княгиня Джординеско. Ее голубые глаза с холодным вниманием были устремлены на остолбеневшую Тату. А Шигловский рад был провалиться сквозь землю и положительно не знал, что делать.

Джординеско посмотрела на него с легким презрением.

— Подите вон!

Шигловский, совершенно уничтоженный, повернулся и вышел из салона.

Тогда княгиня перевела снова глаза на Тату и вперила в нее свой почти мертвенный взор. Девушка, словно замороженная, глядела на Джординеско. Сознание мало-помалу оставляло ее, ей казалось, что эти голубые глаза делают все больше и больше, заслоняя собой все окружающее. Она чувствовала, что последние силы оставляют ее. Какая-то слабость внезапно овладела всеми ее членами и она растворилась вся, почти растаяла, в этих страшных голубых глазах: веки Таты сомкнулись и она, как сноп, упала к ногам страшной красавицы-княгини.

А Джординеско стояла неподвижно у трельяжа. По мере того, как бледнела бедная Тата, щеки княгини розовели, губы алели и лицо оживлялось все больше и больше; казалось, все жизненные соки, вся кровь Таты невидимо переходили к Джординеско. Через несколько минут она вышла из салона и, незаметно войдя в столовую, заняла свое место за одним из столиков, объяснив свое отсутствие каким-то ничтожным предлогом.

А бледная Тата лежала на полу в салоне в глубоком обмороке. Никто в столовой еще не заметил ее отсутствия. Шигловский старался потопить свое смущение в шампанском, а единственная посвященная в секрет подруга Таты, черноволосая Лика Железнова, напропалую кокетничала с остроумным соседом-правоведом.

Через несколько минут после того, как княгиня Джординеско заняла свое место за столом рядом с Моравским, к ней подошла старая Репина в сопровождении Фадлана.

— Я боюсь, дорогая княгиня, — сказала она, — что вы чувствуете себя здесь одинокой и скучаете. Позвольте вам пред-

ставить доктора Ибн Фадлана, одного из моих друзей, тоже иностранца и потому тоже одинокого. Он развлечет вас и будет чувствовать себя в вашем милом обществе не столь отчужденным...

— Блондинка и брюнет, снег и солнце, — проговорил вполголоса Моравский.

Во время представления Фадлан низко поклонился, но взгляд его пристально и как бы с угрозой остановился на лице Джординеско. Она ему ответила легким поклоном и, подняв голову, встретила с его взглядом. Взоры их скрестились; валашка невольно как бы подалась назад, но Фадлан остался недвижим.

— Разве вы уже знакомы? — изумленно заметила Репина, обратив внимание на почти неуловимое движение Джординеско.

— Я первый раз имею честь быть представленным княгине, — сказал Фадлан.

— Мы не были знакомы, — в свою очередь заметила молодая женщина, показывая Фадлану на свободный стул около себя.

Вместе с тем, с уверенностью женщины, привыкшей к победам, она начала обворожительный разговор, бывший тем обворожительнее, что оттенялся легким иностранным произношением, и сразу овладела вниманием Фадлана.

— Вы, доктор, смуглый и глаза ваши черны, как уголь, — сказала княгиня. — Не нужно быть особенно проницательной, чтобы сказать, что вы южанин.

Фадлан молча поклонился.

— И вы, по-видимому, молчаливы, как настоящий восточный мудрец. Ну, хорошо, давайте, я буду отгадывать. Вы не турок; у вас лицо обожжено тропическим солнцем и глаза ваши не миндалевидны, а последнее непременно принадлежность истинного османа. Почему ваши глаза смотрят на меня с угрозой? Уверяю вас, доктор, я безвредная и безобидная женщина... Вы не перс — вам не пойдет высокая баранья шапка. Не правда ли, это чисто женская логика? Впрочем, она в большинстве случаев безошибочна, как бы ни смеялись над ней мужчины. Араб? Нет, я не могу себе

представить вас в белом бурнусе. Индус?

— Вы почти отгадали, — заметил Фадлан,

— Индия! Страна чудес, джунглей, тигров, змей и... мудрецов. Синее небо, таинственный Бенарес, мистический лотос, купающий свои лепестки в священных водах Ганга. Но... каждая страна имеет свое очарование. Растительность тропиков, несомненно, блестяща, но и тоска родной степи имеет свою прелесть... Не правда ли?

Фадлан принял вызов.

— Несомненно, — ответил он, — что для того, чтобы понять поэзию страны, нужно в ней прожить очень долго; пожалуй, даже больше, нужно в ней родиться. Я думаю, княгиня, что вы плохо поймете великолепие непроходимых джунглей, так же, как я не пойму величие бесконечной степи. Конечно, красота везде остается красотой. Но красота степи, говоря многое моему уму, ничего не скажет моему сердцу.

— Однако, доктор, я сумела в моих путешествиях любоваться всем прекрасным, что находила в каждой стране. Хотя бы, например, эта чудная роза...

Она, отколов от своего корсажа чайную розу, протянула ее Фадлану.

— Хотя бы эта роза! Скажите, доктор, производит ли ваш восток такие изысканные розы?

Фадлан взял розу и, внимательно рассматривая ее, сказал:

— Да, великолепный цветок! Однако, я позволю себе уверить вас, княгиня, что наш восток производит еще лучшие...

Он сделал легкую гримасу и уронил розу.

— Лучшие хотя бы потому, что они не колются.

— Вы укололись? — спросил Моравский со смехом.

Действительно, Фадлан укололся настолько, что капля крови упала на розу и потекла по ее стебельку. Джординеско быстро потянулась за цветком и прежде, чем Фадлан заметил это, роза была уже в ее руке.

— Позвольте, княгиня, — сказал он с живостью, — эта роза вас испачкает...



Он хотел взять цветок, но молодая женщина не отдавала его, как бы забавляясь его легким смущением.

— Это ничего не значит, доктор. Ваша кровь окрасила этот цветок и тем сделала его еще красивее. Не примите мои слова за комплимент: я не говорю именно про вашу кровь, а вообще! Человеческая кровь очень красива: где вы найдете такой густой и вместе с тем живой цвет, такую чудную краску? Как все таинственное, она скрыта от света и сама не любит свет. Посмотрите, как красива эта капля на палевом лепестке!

Фадлан сделал попытку потянуть розу к себе, но Джординеско с серьезным видом проговорила:

— Нет, доктор, я ее хочу оставить у себя: теперь она стала еще дороже.

— Коллега! Я начинаю думать, что вы трусите, — вмешался Моравский. — Вы боитесь, что новая Цирцея сделает из вашей крови любовный напиток?

Джординеско расхохоталась и, вновь прищипливая розу к своему корсажу, заметила:

— О, мне далеко до Цирцеи и ее чар! А так как вы, по-видимому, меня боитесь, — так в наказание оставайтесь одни.

И она, встав из-за столика, направилась в глубину столовой и скрылась в толпе.

После удаления Джординеско Фадлан остался сидеть нахмуренный и расстроенный. Мрачный, как туча, он бросал вокруг себя сердитые взоры и с ожесточением мял шарик хлеба, попавшийся ему под руку. Моравский заметил изменившееся настроение духа своего друга, наклонился к нему и тихо спросил:

— Что с вами, мой друг? Вы совсем не в своей тарелке. Неужели пустые слова вздорной женщины имели на вас такое влияние?

— Да.

— Вы очень нервны. Если такая безделица может вас расстроить, вам нужно лечиться. Я говорю это на правах вашего старого учителя... Вы не знали раньше княгиню?

— Совершенно.

— В таком случае, я не понимаю вашего поведения...

— В каком случае? Ах, да; это вы насчет того, когда я хотел взять цветок?

— Да.

Фадлан несколько задумался.

— Вот видите... Вы говорили о черной магии... Знаете ли вы, что является самым главным элементом при действиях черной магии?

— Нет, — сказал Моравский.

— Человеческая кровь. Вы понимаете?

— Как, вы думаете...

— Ах, дорогой учитель! Коли бы всегда можно было предвидеть опасность, ее никогда не существовало бы.

Ужин окончился и столовая опустела. В большой зале снова начались танцы и гостиные наполнились толпой. Хозяйка делала легкий выговор Хелмицкой и Варенгаузен, только теперь приехавшим к ней на бал.

— Друзья мои, как же вам не стыдно так поздно?

— Не говорите, Анна Борисовна! Я думала, что никогда

не вытащу этих детей из их гнезда. Не угодно ли: приехали из театра и собирались ложиться спать вместо того, чтобы ехать на бал, — как это вам понравится?

Репина повернулась к молодым Варенгаузенам.

— Все еще продолжается медовый месяц? Вы совсем стали дикарями и забываете своих старых друзей: я не помню уже, как вы выглядите. Стыдно, стыдно: бросили старуху, мол, совсем не нужна теперь, может умирать себе с Богом... Что вы скажете, Надя, а?

— Ах, Анна Борисовна, — ответила молодая женщина, — так тяжело отрывать от счастья!..

— Но ведь оно с вами, — улыбнулась Репина, указывая глазами на молодого Варенгаузена.

Тот в свою очередь постарался оправдаться.

— Анна Борисовна, не сердитесь на нас: наш первый выезд к вам, мы ведь еще нигде не были.

— Это очень мило. Бог с вами, повинную голову меч не сечет! Хорошо, что хоть сегодня явились, — смягчилась старушка, протягивая руку Варенгаузену, которую тот почтительно поцеловал.

— Искушайте свой грех и идите танцевать, — прибавила она.

Они направились в зал, откуда доносились звуки восхитительного вальдтейфельевского вальса.

Появление молодой и прелестной баронессы Варенгаузен, одетой в щегольский бальный туалет из черных кружев, как нельзя более идущий молодой женщине и оттенявший молочно-матовую бледность ее античной шеи и плеч, произвело впечатление. Молодежь обступила ее со всех сторон, наперерыв приглашая на тур вальса, грозивший сделаться бесконечным. Фадлан, оставаясь безмолвным и недвижимым, внимательно следил за Варенгаузен, не спуская глаз с молодой вальсирующей женщины. Вдруг нервным движением он взял руку Моравского, вместе с которым стоял в амбразуре широкого окна.

— Что с вами, дорогой коллега? — спросил удивленно Моравский.

Фадлан, овладев собой, пробормотал:

— Ничего.

Потом, указывая на Варенгаузен, он добавил, тщетно стараясь придать голосу тон безразличия и сухости:

— Кто такал эта красивая барышня? Это не *mademoiselle* Хелмицкая?

Профессор взглянул по указанию Фадлана.

— Нет... по крайней мере, теперь: фамилия этой дамы баронесса Варенгаузен. Вот там, у входа, стоит ее муж.

При первых словах Моравского Фадлан вздрогнул, затем низко склонил голову. Профессор внимательно посмотрел на него, и точно свет блеснул в его мозгу, — он понял.

— Да... Вы могли знать их, могли встречать: ее семья долго жила на Востоке, там, где были и вы. Старик Хелмицкий по назначению в государственный совет вскоре умер, а через несколько времени после того дочь его вышла замуж. Очень милая семья, я их хорошо знаю, это мои большие друзья. Вы не были с ними знакомы?

— Да... я знаю их понаслышке, — ответил Фадлан, снова вернув к себе хладнокровие — Но я никак не ожидал встретиться с ними в Петербурге.

— Хотите, я вас представлю?

Фадлан смутился.

— Благодарю вас... Может быть... Лучше как-нибудь в другой раз. Я думаю сейчас незаметно удалиться: уже четвертый час.

— Это — идея. Я, пожалуй, последую вашему примеру. Может быть, нам по дороге?

— Я живу на Каменноостровском.

— К сожалению, не по дороге! Но вы позволите, дорогой коллега, предложить вам мои санки и меня самого в провожатые? Я с удовольствием провожу вас: хочется подышать воздухом и... нам еще есть много о чем поговорить.

— Дорогой учитель, чем я заслужил такое внимание?

— Ради Бога, бросьте раз навсегда этого «учителя». Так было когда-то, а теперь я хочу сделаться вашим учеником.

И, заметив удивленный взгляд Фадлана, он добавил:

— Не веря в вашу скромность, я все-таки настаиваю, что вы знаете гораздо больше моего...

— Может быть, вы ошибаетесь?

— Не думаю.

Они незаметно удалились из зала.

Между тем, в интимном салоне разыгралась в третий раз интересная сцена. Княгиня Джординеско, завладев молодым Варенгаузенем, который был ей представлен в то время, как жена его порхала по зале, взяла своего кавалера под руку и, оживленно болтая, привела его в салон. Здесь они уселись на мягком диванчике, ближе к входу. Трельяж скрывал от них недвижимое бледное тело бедной Таты, все еще лежавшей в глубоком обмороке:

— Я очень довольна, барон, что судьба послала мне такого кавалера, как вы, — сказала с милой улыбкой Джординеско.

— Вы позволите узнать, — довольно сухо спросил Варенгаузен, — чему я обязан, что слышу эти любезные слова? Чем я снискал ваше благоволение?

Княгиня немного смешалась, но быстро оправилась и продолжала:

— Я должна вас предупредить; я издаю и...

— Вы, кажется, приехали из Бухареста?

— Да... Только всего какую-нибудь неделю тому назад и положительно никого не знаю.

— О, здесь, княгиня, знакомства делаются очень быстро!

— Не сомневаюсь. Если бы я приехала в незнакомый город своим мужем, да. Но...

— Ваш муж?..

— Я вдова, барон. Мой муж умер два года назад, и я путешествовую почти со дня его смерти.

— Чтоб забыться?

— Чтобы рассеяться, — это то же самое.

Она немного задумалась.

— Говорят, Россия страна неожиданных приключений. Говорят, петербургский свет очень интересен. Я хочу... сделать опыт.

Эта грубая откровенность не понравилась барону, который не без насмешливости посмотрел на княгиню.

— Я буду иметь честь служить препаратом для вашего опыта?

— Боже мой, какой вы злой! Вовсе нет. Я должна вам признаться, что для меня вы представляете совсем особый интерес.

— Ого!.. Какой же, смею спросить?

— Из разговора случайно я поняла, что... Как бы это вам сказать?... Вы, после двухлетнего супружества, влюблены в вашу жену. Так вот... Вы понимаете?... Красивая иностранка, вдобавок, когда она вдова и молода, всегда имеет за собой репутацию опасной. Не будем наивны: каждая женщина прекрасно знает себе цену. И я знаю, что я красива и молода. Но я хочу испытать, насколько я опасна, и испробовать свои силы на неприступном северном граните, на вас. Я откровенна, барон, не правда ли? Каково ваше мнение по этому вопросу?

Княгиня кончила тем, что заинтересовала барона. Все время он был холоден, сдержан, вежлив. Некоторые ее выражения ему не нравились, и вообще вся она казалась ему несколько вульгарной. Но каждый раз, когда он пробовал взглянуть на нее, он чувствовал в своих глазах какое-то странное ощущение: они точно закрывались под острым взглядом молодой женщины и веки делались тяжелыми, точно наливались свинцом. А когда он не смотрел на нее, он чувствовал, как ее взгляд, от которого он хотел бежать и не мог, обволакивал его и покорял его волю. Это странное влияние княгини проникло все его существо, и он был уже покорен ею, незаметно для самого себя.

— ...Итак, ваше мнение, барон? — повторила княгиня.

— По-моему, княгиня, ни одна женщина не может быть опасна сама по себе для мужчины, как бы прекрасна она ни была. Существуют положения, княгиня, при которых чары прекраснейших из женщин, опытных волшебниц и фей, бессильны перед мужской волей. Заслуга мужчины в этих случаях невелика, ему даже не нужно бороться с искушением: он просто не замечает искушительницу, будучи всецело поглощен иной, более великой, настоящей и возвышенной любовью.

— Значит, вы меня не боитесь? Вас кто-нибудь охраняет? У вас есть щит, которым вы закроетесь?

— Вам об этом, наверно, говорили, — ответил с достоинством барон. — Я люблю мою жену. А вот вам и доказательство.

Он вынул из бокового кармана бумажник, открыл его и осторожно освободил из небольшого конвертика крохотный кусок белой ленты.

— Что это такое?

— Этот обрывок ленты я поднял в гостиной, когда был впервые представлен моей будущей жене. И это осталось ее первым сувениром.

Княгиня усмехнулась.

— В вас сказывается кровь ваших немецких предков. Вы сентиментальны. Послушайте, ведь это неосторожно... показывать интимный сувенир, которым вы должны так дорожить! Что вы будете делать, если какая-нибудь женщина, желая подвергнуть вашу супружескую любовь испытанию воспитанием и вежливостью... какая-нибудь женщина, например, хотя бы я, попросит вас в память этого разговора поменяться... заменить этот маленький обрывок чем-нибудь иным?

Она задумалась на мгновение и затем, отколов розу от своего корсажа, добавила:

— Заменить его вот этой розой. Смотрите, какая она свежая, не чета вашему пожелтевшему обрывку.

Варенгаузен поднял глаза на княгиню. Ее острый металлический взгляд проник до самой глубины его души. А ее поражающая красота опьяняла его, туманила его голову и овладевала его душой.

Все-таки он сделал усилие и сказал:

— Я... я отказался бы.

— Даже если бы я попросила?

Он снова посмотрел на нее и снова почувствовал себя во власти княгини.

— Что вы хотите этим сказать? — пролепетал он.

— Только то, что я не думаю, чтобы воспитанный человек вашего общества мог отказать мне в моем маленьком

капризе!

— Позвольте, княгиня...

— Я знаю, что вы хотите мне сказать: про этот сувенир знают, не правда ли? Могут изумиться его исчезновению. Вы разве обязаны отчетом, барон?

Варенгаузен хотел спрятать ленточку, но она выпала из его дрожащих рук. Княгиня с быстротой молнии подняла ее и, свободной рукой протянув ему розу, сказала:

— Видите: она уже у меня и по праву победителя я вам ее не отдам. Возьмите розу взамен, — это фантазия женщины!

— Бог мой! — ответил барон дрожащим голосом. — Если она уже у вас?.. Но я не понимаю, зачем она вам?

— Зачем-нибудь да нужна.

— Я вижу, что, действительно... что хочет женщина...

— Того хочет дьявол, не правда ли? Но я хочу еще большего: дайте мне розу!

Она взяла розу из его покорных рук и, переломив длинный стебель пополам, отдала цветок ему, оставив стебель себе:

— Это будет мне воспоминанием, что, хотя на минуту, а все-таки я одержала над вами победу.

— Княгиня, на стебле, который у вас — кровь. Вы оцарапались?

— Я? нет... Не все ли равно? Я вам отдала лучшую часть. Посмотрите, какая женщина: дарит розу и оставляет себе шипы!

Барон медленно вдел в петлицу своего фрака фатальную розу, не отдавая себе отчета в том, что делает.

За трельяжем раздался тихий стон.

— Что это такое? — спросила княгиня с прекрасно разыгранным удивлением.

Барон бросился за трельяж и остолбенел при виде бледной Таты.

— Княгиня... Посмотрите!.. Ах, бедная девушка!.. Несчастье, обморок! Посмотрите!..

— Скорее бегите за Анной Борисовной, — найдите доктора! Я останусь здесь с бедняжкой. Скорее, барон!

Но барону не пришлось долго искать Анну Борисовну. Она, заметив наконец отсутствие внучки и побывав уже почти везде, обеспокоенная, направилась к салону. Нашелся и доктор, который сейчас же распорядился перенести бесчувственную Тату в ее комнату. Печальная новость о внезапном нездоровье молодой хозяйки быстро разнеслась по всему дому и смущенные гости стали собираться домой. Веселый бал кончился печально, разъезд совсем не походил на давешний оживленный съезд.

К Варенгаузену подошла его жена.



— Борис, где ты был столько времени?

— Я? Здесь, с княгиней.

Джординеско, не отпуская до сих пор своего кавалера, прибавила в свою очередь:

— Графиня просила барона не оставлять меня одну; я здесь никого не знаю. Барон был так любезен...

— Мы едем? — нервно спросил барон.

— Я тебя разыскиваю уже полчаса, — с легким неудовольствием ответила баронесса.

Они церемонно раскланялись с княгиней и направились к выходу. Джординеско в отдалении следовала за ними, не сводя глаз с молодого барона.

Баронесса заметила цветок в петлице своего мужа.

— Кто это тебя украсил? — спросила она не без удивления.

Присутствие молодой жены вернуло барону все его хладнокровие. Он посмотрел на розу, вынул ее из петлицы и сказал:

— Это? Это ни к чему!

И, пропустив вперед жену, он бросил цветок на паркет и нервно растоптал его ногой.

Мрачный взгляд Джординеско следил за этой сценой. Улыбка чуть тронула губы княгини. Она прошептала:

— Глупый!.. Он думает, что это победа!

III

Несколько дней спустя по городу разнесся слух, что молодая Репина скончалась. Одним прекрасным молодым созданием стало на свете меньше. Одной богатой невестой в Петербурге убавилось.

Эта смерть, может быть, прошла бы незамеченной в сутолоке огромного петербургского света. Но обстоятельства смерти были не совсем обычны и толкам и пересудам не было конца. Бедная Тата так и не приходила в сознание; медицинские светила стали в тупик перед странной болезнью и не смогли оказать ни малейшей помощи. Органических перемен не было никаких: полная сил девушка впала в обморок, какой-то продолжительный сон, и так и угасла, не приходя в себя.

Тата умерла рано утром.

В полдень, после первой панихиды, Анне Борисовне сделалось совсем плохо. Она совершенно обессилела от горя и слез. Она лежала у себя в будуаре, плохо сознавая окружающее, с припухшими от слез глазами, с поникшей головой, которую, как ей казалось, точно стягивал какой-то тяжелый обруч. Он не позволял ей ни на чем сосредоточиться, ни о чем подумать. Ее не вывел из апатии даже доклад дворецкого о том, что покойница уже тронулась и предполагают заморозить труп. Она только досадливо отмахнулась рукой:

— Делайте все, что нужно!

А между тем, подобный доклад мог явиться только благодаря общей растерянности в доме, ибо на самом деле ни-

каких признаков разложения вовсе не было. Не успел уйти агент похоронного бюро, как к дворецкому обратился какой-то молодой человек со смуглым лицом и курчавыми волосами. Он представился, как помощник агента, предъявил карточку и указал на якобы начавшееся разложение:

— Следует заморозить. Мы возьмем недорого, а между тем...

Дворецкий, вообще боявшийся покойников, пошел с докладом, не проверив его слов.

Потом пришли какие-то люди, которыми распоряжался все тот же молодой человек с курчавыми волосами. Они удалили всех из залы, где лежал труп, и занялись тем, что было еще так недавно цветущей молодой девушкой. А через каких-нибудь два часа все уже было окончено и прибранная покойница лежала вся в венках и цветах, поразительно похожая на прекрасную восковую фигуру. Ничто больше не должно было смущать ее покоя: незнакомые люди ушли, унеся с собой свой большой и длинный ящик с страшными насосами и приспособлениями.

Вечером того же дня, после панихиды, профессор Моравский заехал к Фадлану на Каменноостровский. Фадлан снял целый особняк в конце проспекта, почти около самой Карповки. Это стоило очень дорого, но зато давало полную возможность Фадлану заниматься своими любимыми исследованиями без всякой помехи.

Десятый час был уже на исходе, когда Моравский нажал пуговку электрического звонка у подъезда небольшого особняка. Ни малейшего луча света не проглядывало в окнах: или были плотно спущены гардины, или Фадлан отсутствовал; дом казался мрачным и пустынным. Но все же профессору не пришлось долго ждать: двери открылись и он очутился в очень большой прихожей, со вкусом задрапированной темно-красными портьерами. Опаловый плафон на потолке лил волны мягкого электрического света. В углу тикали английские старинные часы на высоком постаменте из красного дерева. Большое зеркало во всю стену отражало в себе длинный ряд комнат, глядевших в него через открытые двери. А перед профессором в почтитель-

ной позе, сложив руки на груди, стоял смуглый чалмоносец, сверкая белками больших глаз.

— Доктор Фадлан? — спросил Моравский.

Чалмоносец склонился до земли и указал на широко открытые двери с правой стороны. Профессор сбросил шубу и вошел в большую, богато убранную залу. Как это ни странно, но Фадлан, казалось, ожидал Моравского.

— Дорогой коллега, — сказал профессор, — не удивляйтесь моему позднему посещению. Я так расстроен. Мне почему-то страстно захотелось говорить с вами именно сегодня, сейчас...

— Я вас ожидал и знал, что сегодня вы будете у меня. Я хочу произвести именно сегодня один интересный опыт. Помните, вы просили меня принять вас в число моих последователей? Ну вот, как раз время, я вас ждал.

— Вы меня ждали сегодня? Кто же вам сказал, что я у вас буду? Откуда вы могли это знать? Как это странно! Вы собираетесь произвести интересный опыт и предлагаете мне при нем присутствовать? Я очень ценю ваше внимание к старому профессору. Но странно... это сегодняшнее мое желание видеть вас. Я думал встретиться на панихиде, но вас не было. Бедная Тата! Какая странная смерть!

— Может быть, сегодня мы узнаем ее причину, — загадочно сказал Фадлан. — Прошу вас, присядьте, дорогой коллега!

Профессор опустил на мягкое кресло.

— Странное время мы переживаем, — задумчиво начал Моравский, — и физически и нравственно странное. Если бы Христос явился теперь среди нас, то Его или засадили бы в тюрьму, или, пожалуй, постарались бы бросить Ему пару-другую бомб. Люди науки, умеренности и аккуратности сочли бы Его сумасшедшим и посоветовали бы обратиться к моей помощи. Как вам кажется, Фадлан?

Но Фадлан сидел против профессора, погруженный в глубокую думу, и ничего не отвечал.

Моравский продолжал:

— Но все-таки многие, очень многие хотели бы быть христианами. Их влечет к тому не только сердце, но и ясное

понимание значения христианской морали: ведь теперь мы живем положительно в Дантовом аду и до того замучены и напуганы нынешними формами борьбы за существование, что совершенно одурели от напряжения всех своих сил и перестали понимать друг друга. Порой мне кажется, точно физически ощущаешь что-то неладное внутри, а вокруг себя какое-то «что-то», создаваемое безумным и нездоровым напряжением всего человечества. Это «что-то» способно выводить из равновесия мировые силы, и созданная современной культурой башня Вавилонская готова рухнуть и раздавить своих творцов... В последнее время с напряжением, равным только библейскому, посылаются на нас всякие мори, глады, трупы, потопа, нашествия и т. д. Думая так, я положительно чувствую, что стою на правильной дороге, а эта дорога фатально приводит меня к вам.

— Вы ближе к истине, чем думаете, — тихо сказал Фадлан.

— Да, спор сатаны с Господом Богом обостряется! Но знаете что? Мне кажется иногда, что сатана вовсе не зол и даже, пожалуй, любит людей. Отсюда и его боязнь креста, как непреложного доказательства эмблемы любви к человеку. И сам сатана не может отрицать этой любви, то есть не признать ее всепокоряющей силы, потому что чувствует ее в самом себе. Наоборот, любовь его к людям так сильна, что, убедившись в бессилии человечества вместить такую любовь, он возненавидел людей и решил доказать, что без него не видать им царствия небесного, основанного на любви. А потому он борется с Господом, зовущим нас туда, куда по самонадеянной гордыне своей не смеет сам идти и тем более и нас пустить не желает. Гений-сатана, не имея сил отрицать любовь, однако, умеет превращать ее в орудие порабощения, разъединяющее, ослабляющее, унижающее и оскотоподобляющее нас...

— Я повторяю: вы ближе к истине, чем думаете, дорогой профессор, — снова сказал Фадлан. — Если вы прибавите сюда то, что я как-то говорил вам про вампиров, свяжете предыдущее с последующим идеей деятельной злой силы, то, может быть, вам ясен станет и тот печальный слу-

чай, с которого вы начали вашу речь. Я говорю о смерти бедной Таты Репиной. Может быть, поймете и участие княгини Джординеско, которое я подозреваю.

— Вы что-нибудь знаете, Фадлан? — оживился Моравский.

— Все придет в свое время, — загадочно ответил тот. — Пойдемте в мою лабораторию; я думаю, что время приступить к опыту уже настало.

Они прошли через длинный ряд комнат, убранных то с тонкой роскошью, то с изысканной простотой, и, миновав небольшой темный коридор, вошли в громадный покой, увенчанный куполообразным стеклянным потолком. Темные бархатные портьеры сплошь затягивали стены и, спускаясь с потолка до пола, скрывали высокие окна. В этой комнате не было ничего металлического; карнизы, столы, стулья были затейливо выточены из эбенового дерева. На полках стояли самшитовые статуэтки. У самого входа висела гирлянда из скарабеев, — дань мистике старого Египта.

Моравский в удивлении остановился посреди обширной комнаты, пораженный великолепием ее странного убранства и внимательно рассматривая вырезанные из парчи и нашитые на бархате буквы какого-то неизвестного ему языка.

— Дорогой друг, — сказал Фадлан, указывая решительным жестом на отдаленный угол комнаты, где на возвышении, освещенном пламеневшими зелеными лампадами, стоял длинный ящик, скорее гроб, покрытый черным бархатным покрывалом, — дорогой друг мой, нужно изгнать из наших душ последний остаток страха. Подумайте только, что мы приступаем к опыту, перед которым бледнеет все ваше знание! Нашей волей и нашим могуществом, союзом вещественного с невещественным, мы попытаемся вырвать меч из рук ангела, стерегущего рай. Долго обдумывал я в тиши кабинета мельчайшие детали этого опыта и почти в совершенстве изучил всю физическую сторону дела. Но дальше идет потустороннее, как вы выражаетесь, или божественное, как говорю я. И вот тут-то и начинается неизвестное. Я нашел в старых манускриптах способ, нашел несколько исторически проверенных фактов... но я не знаю, дозволе-

но ли мне вступить на этот путь? Тем более, что меня смущает и то, что всякий раз, когда я думаю о предстоящем опыте, у меня является совершенно незнакомое мне чувство не то какой то злобы, не то гнева. Я спрашивал махатму, но не получил ответа. Значит, я предоставлен самому себе. Заслуга ли это, или преступление? Но если преступление, то возмездие будет тяжко. Одним словом... слушайте, профессор! Одним словом... Одним словом, мы воскресим мертвеца.

Моравский содрогнулся.

— Вы отступаете? — усмехнулся Фадлан.

— Нет, учитель, — ответил Моравский. Он сделал ударение на слове учитель. — Я в вашем распоряжении. То, что я содрогнулся, это — явление, независимое от моей воли и энергии. Я хотел бы только некоторых разъяснений и указаний. Для того, чтобы идти твердыми шагами среди окружающей меня темноты, мне необходим факел. Вряд ли могут его заменить зеленые огни этих лампад.

Улыбка чуть тронула тонкие губы Фадлана.

— Огни эти вовсе не необходимы, — сказал он. — Но, по моему, однако же, эти подробности полезны и даже, пожалуй, существенны. Они служат для привлечения воли и укрепляют мужество. Для похорон необходимы похоронные обряды и с них же нужно начинать, чтобы окончить воскресением. Это как обратно восстановленный снимок кинематографа. Вы видите катафалк, окруженный лампадами. Вы услышите орган, который нам сыграет похоронную мессу. Это не совсем так, как было, но достаточно, чтобы настроить наши нервы в должном направлении. Для того, чтобы использовать всю нашу силу, мы должны собрать воедино физически и физиологически все наши способы воздействия на внешний мир, наше зрение, слух, осязание, обоняние и даже вкус. Мы сожжем в кадильнице щепотку мирры, ладана и стиракса. Мы выпьем из серебряных кубков душистое вино.

— Я готов, — сказал Моравский.

Фадлан бросил щепотку душистых смол в золотую кадильницу, где краснели раскаленные угли. Тонкая струйка

синеватого дыма поднялась и рассеялась в воздухе, наполнив комнату смешанным горьким и сладким ароматом. Потом он исчез за занавеской и мощные звуки бетховенской похоронной мессы полились мелодичной волной и заполнили всю лабораторию: орган рыдал под уверенной рукой артиста...

Звуки органа смолкли, последний скорбный аккорд замер за занавеской и Фадлан снова появился, держа в руках поднос с большой хрустальной амфорой и тремя серебряными кубками.

— Три кубка? — спросил Моравский.

— Да, три кубка, — холодно ответил Фадлан.

— Но для чего столько? Ведь нас только двое. Или будет еще кто-нибудь? — возразил профессор.

— Два живых, — продолжал Фадлан, — к которым нужно придать мертвую, если с Божьей помощью она возвратится к жизни.

— Но ведь это... Это ужин почти на том свете... Это сверхъестественное!

— Без сомнения, вам это кажется очень странным, — сказал невозмутимо Фадлан. — Вот: Тата Репина умерла, тело ее не повреждено. Я подозреваю, я почти уверен, что является причиной ее смерти. Тата Репина умерла сегодня утром... вы меня слышите? Мне очень дорого стоило получить ее тело. Но я добился своего. Вы были сегодня на панихиде, но вы, как и остальные, не знали, что вместо бедной Таты лежит восковая фигура. Никто и никогда этого не узнает. Но сам труп здесь, в нашей власти, в нескольких шагах от нас, под этим черным покрывалом, в распоряжении нашего знания и силы.

Моравский с ужасом смотрел на Фадлана.

— Что вас смущает? Астральная форма после своего освобождения от земной оболочки пребывает некоторое время, более или менее продолжительное, в известном и определенном состоянии, в так называемой второй сфере, прежде чем перейти в мир лярв или в царство чистых духов. На самом деле, астральная сущность этой девушки еще не совсем освободилась от трупа. Органы в целости и не повреж-

дены. Нам остается, приготовив известным образом тело, вернуть в него душу, которая еще не совсем улетела. Ну вот, наша воскресшая, призрак с мясом и костями, чокнется своим кубком с нашим, и мы с горделивой радостью осушим бокалы за здоровье мертвеца, возвращенного нами из-за могилы. Вы поражены? Но слушайте, никакая действительная преграда не разделяет смерти от жизни, это только два различных плана одного общего существования. Смерть — это только кристалл жизни, поймите — неподвижный кристалл, профессор, неподвижное существование, прозябание духа, профессор! Растворите кристалл и вы получите живую жидкость, движение, жизнь! И в ней будет зачаток иного, более могучего движения, иной жизни, жизни духа. Пары, газы — во сколько раз могущественнее и тоньше они, чем грубая жидкость! Но в тысячу раз могущественнее и тоньше земного существования жизнь чистого духа. Лед, вода и пар, — вот вам грубые образы, вот вам ключ к полному познанию. Огонь, — вот грубый образ средства!

Фадлан помолчал немного, как бы собираясь с мыслями, и продолжал:

— Вы найдете в противоположном углу лаборатории все необходимое для предстоящего опыта:

Большой куб дистиллированной воды в 36°.

Специальный стол с системой электрических генераторов.

Несколько сильных реактивов для раздражения кожи и нервов.

Набор трубок для того, чтобы направить на пациента целую волну катодных лучей.

Микроскоп особой конструкции с очень сильным увеличением, благодаря которому мы будем иметь возможность наблюдать эффекты наших усилий.

Аппарат для подвешивания тела. Наконец, постель, на которую мы положим тело для того, чтобы произвести над ним ряд магнетических пассив...

А теперь выпьем, прежде всего, несколько глотков крепкого вина, для того, чтобы запастись необходимым нервным напряжением и силами.

С этими словами Фадлан налил из амфоры душистого вина, и оба доктора осушили до дна свои кубки. Волнение Моравского дошло до высшего напряжения; Фадлан был спокоен и холоден, как всегда.

— Мы обмоём труп теплой водой, чтобы согреть его насколько можно, — снова заговорил Фадлан. — Это необходимо. Здесь результаты будут ничтожны, почти совсем незаметны. Потом мы будем электризовать. Вместо горчичников, мы воспользуемся несколькими каплями крепкой серной кислоты: возвращение к жизни стоит пустячных ожогов. Мы приблизим к ноздрям покойницы флакон с бромом. Потом мы прибегнем к рентгеновским лучам. Мы приведем в действие микроскоп, и я буду магнетизировать, а вы наблюдать, и мы увидим, как жизнь будет постепенно возвращаться в покинутое ею тело.

Движением руки он сорвал черное покрывало.

— Откроем гроб. Снимайте крышку.

Моравский сделал страшное усилие над собой и поднял крышку. Показалась мертвая девушка, безжизненная, бледная, трагически прекрасная в своей неподвижности, холодная, как мрамор. Моравский, увидев труп, уронил крышку, которая с шумом упала на пол.

— Нужно освободить тело от всех одежд для того, чтобы опустить его в ванну.

Моравский с ужасом посмотрел на Фадлана. Но Фадлан наклонился, вынул труп из гроба, быстро сорвал с него одежды до последней, и, собрав все свои силы, перенес его в наполненную теплой водой ванну.

— Помогите же мне, коллега, — сказал Фадлан. — Помогите ее голову. Будет очень скверно, если мы начнем с того, что потопим нашу прекрасную покойницу. Побольше хладнокровия, не волнуйтесь!

Моравский повиновался.

— Теперь, — продолжал Фадлан, — ее волосы будут нам очень мешать: придется отрезать эти великолепные косы.

Через несколько мгновений роскошные волосы Таты, безжалостно обрезанные холодной рукой Фадлана, сияющим каскадом упали на землю.



Моравский тщательно подобрал их и все, до последнего волоска, завернул в большой шелковый платок, который случайно нашел на столе.

Прошло около часа.

Мертвое молчание дарило в громадной лаборатории.

Наконец Фадлан вскрикнул.

— Ага, тело размягчилось и согрелось под влиянием горячей воды; все идет хорошо. Теперь нужно вынуть труп, вытереть его и затем мы прибегнем к действию электричества.

Несколько минут спустя труп покойницы уже лежал на гальваническом столе. Моравский дрожал, как в лихорадке, холодный пот лил с его лба.

Фадлан был совершенно спокоен, действуя с безучастием ученого, всецело поглощенного редким и любопытным опытом.

— Электроды на месте, — сказал он громким голосом, — соедините провода.

Моравский исполнил приказание. Легкая судорога пробежала по обнаженному трупу. Его губы, ноздри, веки тронула легкая дрожь и все мускулы пришли в движение.

— Это ужасно! — пробормотал Моравский.

— Я этого совсем не вижу. Я понимаю, если бы перед нами было живое существо. Но ведь это пока еще только труп, жизнь еще не вернулась в него. Что же ужасного в этих судорожных сокращениях? Напротив, нас должны радовать движения подобного рода: раз они налицо и соответственны, значит, механизм тела в порядке. Помните, что неперемненное условие возвращения жизни — полная целость всех органов и мускулов. Думайте о том, что мы теперь работаем над возвращением души в ее прекрасное обиталище. Поверните, прошу вас, рычаг возможно больше в правую сторону, — нужно усилить ток. Вот так, довольно, благодарю вас. Ну что, теперь вам легче?

Он внимательно следил за минутной стрелкой своего хронометра.

— Нам нужно продержатъ труп в таком положении полчаса. В древности не умели пользоваться токами такого напряжения и возились над этим целых двенадцать часов. В течение такого продолжительного времени труп портился и в большинстве случаев опыт выходил неудачным. А между тем, сила электричества необходима при действиях такого рода. Это, так сказать, последняя станция вещественного мира и здесь уже соприкасается астральная материя с грубыми формами земной жизни. Теперь довольно, прекратите ток!

Моравский разъединил провода.

— Далее мы перейдем к магнетическим пассам. Перенесем тело на постель.

Они перенесли значительно потеплевший труп на невысокую кровать и положили его навзничь на мягкий матрац. Фадлан низко наклонился и ритмическим движением рук стал насыщать своим флюидом распростертое перед ним тело.

Он держал обе руки, ладонями вниз, над лбом девушки, затем разводил их и медленно вел свои руки вдоль всего тела на расстоянии полувершка до самых ступней. Здесь он с силой сжимал свои пальцы в кулак и сейчас же разжимал их. Потом снова приводил руки, ладонями вниз, к неподвижно лежащей перед ним голове. Тяжелое дыхание с трудом вырывалось из его плотно сжатых губ, жилы на лбу надулись и глаза горели внутренним огнем. Через пять минут Фадлан снова обратился к Моравскому.

— Освободите веревки аппарата и проденьте кольца под руки Таты. Вот так. Теперь поверните ручку, шесть или семь оборотов колеса. Так. Это подвешивание необходимо после пассивов.

Моравский исполнил все указанные действия и теперь труп висел над кроватью. Стриженная голова его низко склонилась над грудью и ноги едва касались тюфяка.

— Очень хорошо! — пробормотал Фадлан. — Теперь приведите в действие рентгеновский аппарат. Поставьте экран, возьмите микроскоп и приготовьтесь смотреть.

Моравский приблизил глаз к окуляру.

Вдруг он вскрикнул.

— В чем дело? — спросил Фадлан. — Рассказывайте мне, насколько возможно хладнокровнее, что вы видите. Мне нужно знать, чтобы действовать дальше.

— Боже мой, какое отвращение!.. Отчаянное сражение между миллионами противных чудовищ, бросающихся друг на друга! Что это такое?

— Это только бациллы, гнилостные бациллы, мой друг! Бациллы, хотевшие пожрать человеческое тело. С ними борются ожившие микроорганизмы, стерегущие нашу жизнь. Мое предсказание начинает исполняться... Они достаточно страшны, не правда ли?

— Отвратительны! Никакое воображение не может себе их представить... И их тысячи тысяч, целые полчища!

— Если бы мы обладали микрофоном той же силы, какой мой микроскоп, мы слышали бы шум, с которым не сравнится бы пушечный грохот любого современного сражения. Этот микроскоп стоил мне нескольких лет упор-

ного труда и вычислений, зато наблюдение и пользование им дает превосходные результаты. Позже я покажу вам его устройство во всех деталях. Если бы не ваше теперешнее наблюдение, профессор, я, должно быть, уже бросил бы пассы. Я совершенно изнемог. Но микроскоп говорит, что сражение уже началось. Будем помогать слабейшему.

Фадлан с новой энергией возобновил свои магнетические пассы. Его нервы, мускулы и воля соединились вместе и развивали страшное напряжение. Никогда еще не употреблял он такого гигантского усилия. Он больше уже не говорил и не шутил. Его глаза, казалось, жгли лицо умершей, его дрожащие руки производили быстрые пассы над ее щеками, шеей и грудью.

— Смотрите же!

Моравский повиновался.

— Что вы видите?

— Вы правы. Сражение кончено. Страшных чудовищ нет. Немногие оставшиеся как будто теряют свои последние силы.

— Так. Нужно, чтобы они умерли, чтоб Тата воскресла. Жизнь всегда кончается смертью, а смерть жизнью, — это фатальный и вечный круг. Положим тело на кровать. Мне нужно набраться сил, я изнемогаю...

Немного отдохнув, Фадлан опять повернулся к труп, снова лежавшему теперь на кровати, и возобновил свои пассы.

Вдруг он сказал вполголоса, но резко и определенно:

— Две капли кислоты на грудь, каплю брома в ноздри!

Моравский исполнил предписанное. Весь дрожа, он отскочил, как ужаленный, от кровати.

— Ах!.. Я вижу... вижу... тень, я не галлюцинирую! Я ясно вижу светлую тень, неясную, расплывчатую, но совершенное отражение, двойник Таты! Это привидение с закрытыми глазами, с неподвижным лицом... Оно обнимает труп своими руками... какой ужас!.. Теперь оно исчезает... Я больше не вижу ничего.

— Это вас удивляет?

— Привидение пропало.

— Воскрешение почти произведено, астрал вошел в материю, — вот и все! Вы увидели астральное тело уже ожившего человека, потому что волнения этой ночи довели ваши нервы до высшего напряжения и утончили все ваши чувства. Самое главное сделано. Я возобновлю мои пассы. Это уже не пассы призывания, которые я нашел первым; это пассы, известные каждому магнетизеру. Не попробовать ли нам искусственное дыхание? Я вдуну жизнь в легкие моей пациентки.

Он приблизил свои губы к губам Таты. Потом снова обратился к Моравскому.

— Будьте добры дать мне маленькое зеркало...

Фадлан приблизил зеркало к лицу Таты.

— Победа! — вскричал он. — Стекло потускнело.

— Не может быть, дайте посмотреть! Дайте посмотреть! — пробормотал Моравский.

— Смотрите, — сказал Фадлан.

— Боже мой! — простонал Моравский, глядя на действительно потускневшее стекло.

— Смерть побеждена, — летаргия проходит. Перед нами живая больная, погруженная в глубокий сон, слегка гипнотический. Скорее горчичники к ногам. Две капли кислоты... достаточно!

Моравский быстро исполнил предписание Фадлана.

IV

Прошло еще полчаса, томительных, долгих полчаса.

Фадлан внимательно следил за пульсом своей пациентки. Теперь уже почти ничто не свидетельствовало о том, что Тата была мертвой и, если бы не синеватая бледность лица, она имела бы вид спокойно спящей девушки. Грудь ее вздымалась легко и спокойно, губы были полуоткрыты и дыхание становилось все глубже и глубже.

Фадлан выпустил бледную руку Таты, рука эта так и осталась висеть в воздухе.

— Вы видите, дорогой коллега: состояние каталепсии. Это уже для вас совсем обычно, — сказал Фадлан. — Теперь приступим к пробуждению.

— Я полагаю, — заметил Моравский, — что следует устроить все то, что могло бы поразить ее при пробуждении. Посмотрите, ведь она совсем обнажена!

Длинные ресницы Таты чуть дрогнули.

— Вы видите, она даже, кажется, слышит?

— Вы правы, коллега, я упустил это из виду.

Они не без труда одели девушку и перенесли ее на мягкий диван. Тата не реагировала на довольно бесцеремонное обращение с собой обоих докторов.

— Теперь будем будить, — сказал Фадлан.

Он взял большой гонг и громко ударил в него: дребезжащий звук разнесся по всей лаборатории и замер где-то наверху под самым потолком. Но Тата осталась без движения. Он ударил второй раз, — эффект был тот же. При третьем ударе веки Таты вздрогнули, точно будто бы она хотела открыть глаза.

— Вот... пробуждается, — пробормотал Фадлан.

При следующем ударе по всему телу Таты пробежало как бы легкое содрогание.

— Вы видите, коллега?

— Мне кажется, что я сплю, — сказал Моравский.

Фадлан с силой ударил еще раз в гонг и сказал властным и проникновенным голосом:

— Наталия! Наталия! Встань!

Тата медленно, как бы вне себя, поднялась с дивана. Она подняла руки, глаза ее широко и испуганно открылись, ее губы исказила судорога и она с ужасным криком снова упала на диван.

Фадлан торжествовал, Тата воскресла.

Он наклонился к уху Моравского и сказал шепотом:

— Возьмите карандаш и бумагу: нужно записывать все, что произойдет, все слова. В интересах пауки, не упускайте ни малейшей подробности... Я не совсем уверен: Тата ли это?

— Как так? Кто же это, если не Тата? Я вас не понимаю, что вы хотите этим сказать? — удивленно возразил Морав-

ский.

— После, после! Она начинает говорить.

Действительно, Тата попыталась что-то сказать. Губы ее двигались, руки перебирали оборку платья. Наконец, чуть слышно она проговорила:

— Что со мной?.. Где я?..

Фадлан подошел к дивану и, пристально глядя на нее, как бы магнетизируя своим взглядом, ответил:

— Вы выздоровели, вы поправились. Вы здоровы.

— Здорова... Здорова...

— Да, совершенно здоровы. Вы можете подняться и начать вашу обыденную жизнь. Вы нас знаете.

— Мою обыденную жизнь... Я вас знаю...

Она мутными глазами смотрела вокруг себя.

— Вы еще спите, — повторил Фадлан. — Проснитесь! Посмотрите на меня хорошенько.

— Да, да... Я как будто вспоминаю... Но я не знаю вашего имени, у меня не хватает слов.

— Я доктор Фадлан, вы меня знаете. Может быть, вы меня и забыли. Но посмотрите внимательнее; вот Петр Иванович Моравский, профессор, старый друг вашей семьи.

— Да, да. Петр... Иванович... Моравский. Профессор.

— Дитя мое, Тата, неужели вы меня не узнаете? — огорченно воскликнул Моравский.

Тата глубоко вздохнула.

— Теперь да, я вспоминаю. Только у меня точно какие-то перерывы в памяти. Я видела страшный сон. Ах, какой сон!

— Вы его нам расскажете?

— Сон. Ах, какой сон!

— Должно быть, что-нибудь страшное, — сказал Фадлан. — Вы сильно вздыхали и мучились и я вас разбудил, чтобы узнать, что именно вы такое видели.

— Какой сон!

— Расскажите же его нам.

— Дайте мне немножко оправиться...

— Пожалуйста, пожалуйста. Сделайте одолжение.

— Ах, какой сон! Мне больно от ожогов...

Ее взор упал случайно на гроб, который так и остался стоять с беспорядочно свернутыми на сторону подушками и со сброшенной крышкой. Со страшным криком она вскочила с дивана и застыла на месте.

— Вы хотели меня заживо похоронить? — вся дрожа, пролепетала она.

— Вовсе нет, — ответил Фадлан. — С чего это вы взяли? С какой стати явилось бы у нас такое дикое желание? Не пугайтесь и не возбуждайтесь попусту, вовсе не нужно и незачем так нервничать и волноваться... Вы все еще не верите? Послушайте, я повторяю: ни у одного из нас двоих ни на минуту не было подобной нелепой идеи. Уж если на то пошло, так было, напротив, как раз наоборот.

— Как? Наоборот?

— Спросите у Моравского.

Моравский подтвердил:

— Верно, наоборот. Доктор говорит правду, никто не хотел сделать вам ни малейшего зла.

— Но этот гроб?.. Лампады? Я хочу знать, что это значит?

И, сделав несколько шагов вперед, она отшвырнула ударом ноги гроб в дальний угол лаборатории, как будто это была ничтожная щепка.

— Однако! — изумился Фадлан. — Вы сделались странно сильной за время вашего магнетического сна... Первое наблюдение, запишите, коллега.

— Записываю.

Тата видимо сдерживала свой гнев и со злобой сказала Фадлану:

— Я хотела бы поступить с вами так же, как я поступила с этим гробом: я чувствую, что вы хотели меня похоронить.

— Вовсе нет. Что с вами? Что за навязчивая идея засела в вашей голове?

— Объясните же мне наконец... как я к вам попала? Что все это значит?

— Хорошо, я объясню вам все, если вы так любопытны... Но объясню только в том случае, если вы меня будете слу-

шать совершенно спокойно.

— Доктор, — угрожающе сказала Тата, — я жду!

— Я вам оказал такую услугу, какой никогда ни один смертный не оказывал другому.

— Услугу?.. Инстинктивно я чувствую против вас что-то вроде ненависти. Это совсем не гармонирует с вашей предлагаемой услугой.

Фадлан рассмеялся.

— Однако, за что же эта ненависть?

— Да, доктор, ненависть и вражда. Это невольно. В конце моего сна я видела вас обоих так же ясно, как и теперь и... Нет! Я буду молчать до тех пор, пока вы сами не разъясните всех этих странных и непонятных фактов.

— Хорошо, пусть будет так. Слушайте же: прошло около, я полагаю, 19-ти часов... как... произошел случай... очень печальный случай...

— Случай?

— Да. Вчера утром в семь часов вы...

Фадлан остановился.

— Ну, говорите же. Я?..

— Вы... умерли.

— Умерла?..

— И настолько умерли, что над вами успели пропеть две панихиды.

В продолжение нескольких минут, показавшихся часами, воскресшая молчала. Жилы на лбу ее напрягались, она тяжело дышала, руки то сжимались, то разжимались... казалось, она хотела отыскать в самых сокровенных тайниках своей памяти воспоминание об ужасе пережитой драмы.

Потом с угрожающим жестом она подошла к Фадлану и пробормотала почти шепотом:

— Да... да, — все проясняется, все становится на свое место, все приходит в порядок, все! Так этот сон был не сном, а действительной жизнью? Это мучительное видение было не горячечным бредом, не галлюцинацией, не игрой расстроенных чувств? О, тяжелый сон, невообразимо ужасный сон, о котором я до сих пор не могу вспомнить без дрожи и страха! Боже мой! Я понимаю теперь, что этот сон или,

вернее, его начало и середина, был только другой стороной смерти, или... жизни, может быть, преддверием счастливой вечности. Но конец... ах, это ужасное окончание! Какое счастье испытывала бы я теперь, если бы не было этого подлого конца! Я страдаю до сих пор, я вся дрожу еще и теперь, вся до корней моих бедных волос, которые вы так безжалостно остригли, грубые палачи! Да, отвратительный конец видения был, конечно, возвращением моей уже почти совсем освобожденной души, понимаете ли, просветленной, лучезарной и свободной души, в грязную тюрьму мертвого тела... Моей души, которую, вероятно, ваша негодная воля заставила разными недостойными приемами отказать от своей чистоты, белизны и света и войти в противные полуразложившиеся органы, в эти нервы, в эти мускулы, в эту кровь, уже свернувшуюся, которые снова сделались теперь моей сущностью, снова мной самой! Меня оторвали от созерцания бесконечного, чтобы погрузить снова в эту грязь... Ужас, ужас и проклятие!

— Это все, что вы можете нам сказать? Это ваша благодарность?

— Вас благодарить? Вас благодарить?.. За то, что вы меня убили? — с бешенством вскричала воскресшая.

— Вы увидите, коллега, — совершенно спокойно сказал Фадлан Моравскому, — что пациентка нас убьет за то, что мы вернули ей жизнь...

— Вздор... вздор и глупости! — прервала она. — Что такое убить? Усилием злой, а может быть, и доброй воли заставить перейти человеческое существо из этой жизни в другую, больше ничего, вот что такое убить! Так это обыкновенное убийство; но как назовете вы отвратительное дело, благодаря которому вы переводите одного из вам подобных из «той» жизни в эту? Это преступнее обыкновенного убийства, это страшнее страшной из смертей! Обыкновенная смерть есть освобождение для чистой души, и языческие мучители оказывали, сами того не зная, громадную услугу мученикам на заре христианства. Но эта последняя гадость, подумали ли вы об этом? Этот страшный возврат от света к тьме, от солнца к мраку, насильственное пог-

ружение в глубину источника всех несчастий и всех слез, после полного забвения в бесконечной лазури! Эти новые цепи, отвратительная и страшная тюрьма, которую уже разрушил небесный ангел... Ах, господин доктор, ах, господин Фадлан, и вы, его помощник, почтенный профессор, вы — последние из негодяев! И вы осмелились сражаться с самим Богом, вы, презренные неучи, бесстыдные фокусники, грошвые магнетизеры, жалкие идиоты с птичьим мозгом, без сердца и души!

— Однако, что это за язык! — возмутился Фадлан.

— Я не узнаю вас, Тата, — сказал Моравский. — Вы ли это? Что за лексикон... Откуда вы набрались таких выражений?

Воскресшая продолжала, не обращая внимания на возражения, возвысив свой голос почти до крика:

— Добрый Наставник и Его ученики своей святой молитвой, мановением руки, взглядом, обращенным к небу, разрушили гробовую крышку и воскресили бедного мертвеца, который, полный здоровья и жизни, поднялся из темной могилы, славя Бога и радуясь дневному свету. Последнее из негодяев, вы воспользовались для ваших целей несчастным телом девушки, выкраденным не знаю каким способом из могилы... Вы, мрачные некроманты, слуги дьявола, вы подвергли меня, счастливую и спокойную, которая уже отдавала свою душу Отцу, электрическим разрядам, жгучим лекарствам, подвешиванию на веревках, точно на виселице... Я не знаю, какими усилиями вы заставили дух войти в тело и вернули узницу в оковы тюрьмы... Будьте же прокляты до конца ваших дней, до скорого конца вашей гнусной жизни!

— Вы ошибаетесь, несчастная девушка, — грустно возразил Фадлан. — Я сейчас объясню вам, почему я позволил себе произвести над вами этот опыт. Но я раньше скажу, что, конечно, вы теперь имеете право смотреть на нас, как на мальчишек и неучей, потому что вы пришли оттуда, где нам предстоит еще быть. Но это только так кажется...

— Прощайте, — вдруг проговорила воскресшая.

Фадлан с тревогой посмотрел на нее.

— Почему это «прощайте»?

— Прощайте, — снова повторила Тата. Голос ее на этот раз прозвучал как будто где-то вдали.

— Отвечайте мне, что значит это «прощайте»! Вы не отвечаете?

Тата молчала.

Глаза Фадлана блеснули.

— Здесь подмена, здесь кто-то другой! — вскричал он. — Эта подмена совершилась уже давно... Кто бы ты ни был, злой или добрый дух, ты должен знать, что всем ты обязан моей силе, моему могуществу, моей победе над смертью, — ты мое создание, моя вещь! Заклинаю тебя моим могуществом и силой, повинуйся!

Он повелительным жестом указал на землю и топнул ногой.

Но она пристально смотрела на Фадлана страшными глазами, в которых горел теперь гневный и злой пламень.

— Повинуйся! — повторил Фадлан, в свою очередь повысив голос почти до крика.

Она расхохоталась.

— Повиноваться? Повиноваться вам, милый доктор? Уж не воображаете ли вы, что имеете надо мной какую-нибудь власть? Я просто лярва, свободная лярва, и вы предо мной бессильны и ничто.

Фадлан ничем не выразил ни удивления, ни страха. Но Моравский инстинктивно почувствовал надвигавшуюся опасность и не знал, как от нее уберечься.

Голос воскресшей совершенно переменялся и в самой речи появилось какое-то грассирование, какой-то неуловимый иностранный оттенок. Моравскому показалось, будто он где-то слышал этот голос. Он стал припоминать и вспомнил, что так говорила княгиня Джординеско. Ошибиться он не мог: речь ее была слишком оригинальна.

Фадлан пожал плечами, улыбнулся и протянул руку бывшему трупу.

— Если бы, — почти спокойно сказал он, — вы явились сами по себе или были вызваны моими заклинаниями, мне было бы нетрудно вас уничтожить, лярва! Душа чистой де-

вушки ушла, вместо нее в это тело вселились вы. Это для нас безразлично, вы все равно нам расскажете все то, что она испытывала, ибо мозг, которым вы владеете, сохранил еще новые воспоминания, принесенные душой бедной Та-ты. По вашему голосу и по тому, как вы подделываете слова и фразы, я догадываюсь, кому вы служите. Не ошибся ли я, думая, кто причина смерти бедной девушки, чьим телом вы теперь владеете? Вы киваете головой. С меня довольно. Как бы ни было, а я вас позвал издалека совсем не для того, чтобы спорить с вами или быть вам неприятным. Во всяком случае, я даже подумал о том, что вы почувствуете жажду, на что указывают старые манускрипты. Вы видите три кубка и вино? Ну, мы уже выпили с моим коллегой. Но ваш бокал нетронут, он вас ожидает, возьмите его.

— Как раз вовремя: я умираю от жажды!

— Это меня не удивляет. Итак — живите себе на здоровье, и... пейте.

Воскресшая выпила кубок и протянула его Фадлану, указывая на амфору. Он налил ей еще и еще. Она пила с наслаждением, большими глотками и без передышки, — вино, по-видимому, очень понравилось.

Потом, поставив свой кубок на стол, — она пробормотала тихим голосом:

— Благодарю вас.

— Теперь вам лучше, не правда ли? — спросил Фадлан.

— Вы окрепли?

— Да, доктор, мне даже чересчур хорошо.

— Если так, то сядьте и будем разговаривать. Ваше путешествие должно было утомить вас, но теперь вы подкрепились, — давайте же поговорим спокойно и по-дружески... Коллега, не забывайте ваших заметок, следите за нашей беседой.

— Чего вы от меня хотите?

— Чтобы вы рассказали нам про ваши похождения.

— Это не так легко, как кажется. Умрите сами, и вы все узнаете; а профессор пусть проделает над вами ту же историю, какую вы проделали надо мной — это будет совсем недурно. Уверяю вас, вы будете очень удивлены... Жалкий че-

ловек, при всей вашей учености вы почувствуете себя там совсем дурачком, а ваша нестерпимая гордость и ваше безумное тщеславие окажутся на том свете легче пуха.

— Это замечание довольно определено, — сказал Фадлан.



Он делал гигантские усилия, чтобы подавить свое волнение и держать себя в руках. План дальнейших действий уже созрел в его голове, но для выполнения его нужно было собрать всю свою силу.

— Но вы грубы, — добавил он. — Вы слишком волнуетесь и слишком торопитесь. Это вредно для тела, в которое вы вселились, и вам придется, пожалуй, из него выйти раньше, чем вы рассчитываете.

Моравский вздумал было вмешаться в их разговор.

— Почему бы вам не быть поспокойнее? Я, как психиатр...

— Вы-то тут при чем? — вдруг вспыхнула воскресшая.

— Я хочу лишь добра...

— Я начну с того, что выучу вас вежливости... Неуч! — с угрозой повторила она.

Моравский встал и сделал попытку подойти к лярве. Одним ударом по щеке она повергла его на пол. Профессор поднялся, щека его покраснела, он весь дрожал от оскорбления и боли.

В глазах Фадлана блеснула гневная молния. Но он сдержался и даже усмехнулся:

— Вы не очень ушиблись, дорогой коллега? Лучше не вмешивайтесь в наши разговоры. Послушайте, лярва... если бы вы сообщили мне, как вас зовут, нам было бы легче продолжать нашу беседу. В самом деле, как ваше имя?

— Лемурия.

— Лемурия. Это очень красиво. Будьте откровенны, Лемурия, и скажите... Если вам хочется пить еще, пожалуйста! Не стесняйтесь.

— Я ужасно возбуждена!

— Тогда... пейте еще, а? Это очень полезно в таких случаях.

Он налил ей вина.

— Может быть, вы нам скажете что-нибудь про участь, которую вы нам готовите, Лемурия? Мне кажется, что вы что-то замышляете.

— Я охотно предскажу вам вашу судьбу и это предсказание исполнится очень скоро, раньше сегодняшней зари. Слушайте: прежде всего, я вам расскажу кой-какие подробности моего сна; потом я уничтожу вас обоих и ваши ничтожные изыскания в области смерти и потустороннего мира погибнут вместе с вами в вашей общей могиле. Я сверну шею тому старому глупцу, вашему помощнику... Я ему сверну шею, как цыпленку... вот так!

Она схватила валявшуюся на полу толстую цилиндрическую полосу железа, по-видимому, рычаг или поршень какой-то машины и без всякого усилия согнула ее и разломала пополам.

— Что же касается до вас, то вы, великий ученый и посвященный во многие тайны, вы умрете иначе.

— Это любопытно. Как же именно?

— Я опрокину вас навзничь и буду легко бить вас по лицу до тех пор, пока не обезображу его, не превращу в котлету и не раздавлю вашу глупую голову. Вы, покоритель смерти,— вы погибнете от пощечин женщины, над которой вы осмелились проделать ваш дерзкий опыт.

— Прекрасно. Дальше что?

— Потом я найду в вашей лаборатории какой-нибудь инструмент или, может быть, яд, вообще что-нибудь, что даст мне возможность быстро последовать за вами.

Лемурия снова утолила свою ненасытную жажду кубком крепкого вина и заговорила медленно и размеренно, не сводя глаз с Фадлана, который совершенно спокойно выдерживал этот угрожающий и злобный взгляд.

— Я исполняю первый номер своей программы, предсказание начинает сбываться. Угодно вам слушать? Да? Ну, — слушайте. Наконец-то я собрала мои мысли... Теперь я вспоминаю... Я заснула, крепко заснула... и, совершенно не отдавая себе отчета, перешла понемногу в темную, темную ночь.

— Это вполне понятно, — сказал Фадлан.

— Сначала, я не могу точно сказать, сколько времени... сначала у меня было полное беспмятство, полная потеря сознания, забвение всего и темнота. Потом мне показалось, что я стала немного познавать себя, и в то же время почувствовала страшный холод. У меня явилось ощущение, как будто бы вся жизнь уходила понемногу к сердцу, а моя мысль сосредоточивалась в уголке мозга, который казался мне очень, очень далеким. Потом этот остаток мысли совсем отделился от остатка жизни и вышел из тела, сохраняя с ним, однако, чуть заметную связь. Это была первая фаза смерти.

— Посредством чего же поддерживалась эта чуть заметная связь?

— Посредством... я не знаю, как выразиться... посредством особой флюидической нити, чего-то вроде беспроволочного телеграфа, передававшего постоянно все сообщения о жизни.

— Но это очень интересно!.. Продолжайте.

— Вместе с тем, я не сумею сказать вам, как именно, но я увидела мое собственное тело, неподвижное и бледное, лежавшее на столе, в зале. Хотя я была уже вне тела, но я чувствовала ледяной холод и хотела разорвать эту флюидическую нить, благодаря которой я все-таки участвовала в полной гамме чувств, непрерывной гамме обоняния, вкуса, зрения, осязания и слуха. Я не могу сказать, сколько времени продолжалось это. Потом вдруг я совершенно ясно почувствовала, что моя высшая часть, мое настоящее «Я» точно проваливается куда-то, в какой-то темный колодезь, увлекая за собой и тело, — мне было очень тяжело! Но после какая-то вспышка, точно маленькая электрическая искра, только гораздо более эфирная, чем электричество, прервала эту нить, которая связывала меня с моим трупом, и тогда... тогда мои настоящие глаза открылись... и я увидела перед собой две пропасти и что-то черное и красное внутри их... Это что-то крутилось и двигалось, двигалось без конца. Это было нечто вроде вихря, пламенеющего дыма, крутящегося со скоростью урагана и несущегося не знаю куда... В нем мелькали человеческие фигуры, скорбные и бледные лица. А за этими пламенными вихрями я видела... я видела... Непостижное!

Она замолчала, точно внутренне содрогнулась при воспоминании о непостижном.

— Мне нужно было пройти только один из вихрей, чтобы достичь божественного света, который настолько притягивал меня, что переход через пламень потерял для меня весь свой ужас. А я знала и чувствовала, что этот неведомый пламень должен был страшно жечь мою астральную оболочку. Ах!.. Я уже была почти счастлива... Но я почувствовала, как чьи-то преступные, но невидимые руки как бы потянули меня назад. Это были, конечно, ваши руки. Потом... потом мой труп разрывала целая армия ужасных чудовищ, оспаривавших друг у друга мою почерневшую свернувшуюся кровь. Могучая сила приковала меня к этому телу и потащила нас обоих сквозь что-то длинное и узкое, какой-то темный ужасный колодезь; я должна была прикинуться к трупу, слиться с ним, проникнуть в него.

Как передам я вам отвратительное ощущение прикосновения к мерзким чудовищам, совершавшим постыдную тризну? Потом я уже была одно с трупом и вместе с тем я одновременно отдельно ощущала нас обоих. Понемногу вернулись ко мне все земные ощущения, запахи; я почувствовала боль от ожогов и открыла глаза. Я увидела вас обоих, — вы были победителями. Потом... потом «она» ушла, а я осталась. И я, «оставшаяся», я жажду вас уничтожить, вас обоих, за то, что вы так дерзко и самонадеянно осмелились поднять завесу смерти! Я сделаю это очень скоро, — сейчас.

— Ну, что же, — сказал Фадлан, — я лично ничего не имею против смерти. Если нужно сделать шаг, мы его сделаем. Но я хочу встретить смерть с веселой улыбкой на губах, я хочу, чтобы она пришла к нам и села за пиршественный стол среди радостных восклицаний и ликующих тостов за торжествующую жизнь, я хочу встретить ее с пенящимся кубком в руках. Ведь это красиво, не правда ли? А нужно не только жить, но и умирать красиво! Эти кубки пусты, да и вино недостойно великой минуты... я принесу другое. Что вы скажете на это, Лемурия?

Лемурия, не отвечая ни слова, утвердительно кивнула головой.

V

Фадлан вернулся, неся в руках большой серебряный кубок, до краев наполненный искрящимся шампанским.

Он подошел к Лемурии и высоко поднял кубок над своей головой.

— Выпьем это чудное вино, — вскричал он, — выпьем его без горьких фраз и злобных дум! Выпьем его за жизнь, знание и свет. И пусть, по ритуалу, Лемурия пьет из него первая, как жрица нашего жертвоприношения; за ней последую я, а потом вы, дорогой мой коллега, мой помощник и мой последователь.

И он подал кубок своему будущему палачу.

Лемурия с живостью поднесла чашу к губам и с жадностью выпила несколько глотков. Вдруг она испустила страшный крик, перешедший в протяжный вой, точно кто-то душил ее за горло. Она упала навзничь, словно сраженная молнией; тело ее корчили судороги, кубок упал и откатился далеко в сторону. Еще несколько содроганий, несколько взмахов уже бессильных рук... ужасающая гримаса скривила ее губы, глаза вышли из орбит — и она осталась недвижимой на полу. Она была мертва.

— Господи! — простонал пораженный Моравский.

Но Фадлан произнес холодным и спокойным голосом:

— Немного синильной кислоты, подбавленной к вину, больше ничего. Не будем пить этого вина, оно не для нас.

— Господи! — повторил Моравский.

— Полагаю, что вы понимаете? Иначе нельзя было поступить, — продолжал Фадлан. — Вызванный к жизни труп можно было уничтожить только таким путем. Я, конечно, сожалею, что пришлось прибегнуть к этому средству, но ведь и мы были в состоянии необходимой обороны. Теперь... А!.. Что такое?

Легкий удар, чуть слышный и робкий, тихонько стукнул в половицу, — еще и еще, — посыпалась мелкая дробь частых и постоянных стуков. Казалось, чьи-то пальцы выстукивают быстро-быстро какую-то условленную азбуку. Стуки постепенно усиливались, повторялись в стенах и в столе... Наконец, бухнул тяжелый удар в пустом гробу — и все смолкло.

Фадлан нахмурился.

— Я сделал громадную ошибку, мой друг, — грустно сказал он. — Я до сих пор не научился владеть собой и вот тут-то и поймала меня злобная лярва. Увы! Эта ошибка теперь непоправима. Я должен был заклать Лемурию: она, покинув тело, ушла бы туда, откуда пришла. А теперь... По крайней мере, уничтожим тело: иначе придется очень долго возиться с нею.

Он наклонился над трупом.

— Берите ее за ноги, коллега! Вот так, берите смелее, а я буду поддерживать голову. Перенесем ее в гроб.

Они не без труда перенесли труп, ставший очень тяжелым, в дальний угол лаборатории, где валялся опрокинутый гроб, и положили свою страшную ношу на пол. Труп, казалось, следил за ними своими остеклевшими глазами; Моравский, не будучи в силах скрыть отвращения и страха, поминутно взглядывал то на Фадлана, то на мертвую девушку.

— Ах, дорогой мой друг, как вы слабы! Я никогда не предполагал, что вы с таким трудом ладите с нервами. Неужто вас пугает эта бессильная груда костей и мяса? Помогите лучше поставить как следует гроб; он очень тяжел и мне одному с ним не справиться.

Они с большими усилиями поставили на место перевернутый гроб. Потом положили в него тело и накрыли его крышкой. Фадлан нажал пуговку электрического звонка. Через минуту появились два смуглых человека, одетых в плотно обтягивающее их крепкие члены темное трико, в широких лакированных кушаках и в чалмах. Фадлан проговорил несколько слов на незнакомом Моравскому языке. Они приложили руки ко лбу, склонились до земли и подошли закрытому ящику.

Оттуда раздался стук, люди остановились.

— Что это значит? — нервно спросил Моравский.

Новые стуки слышались из гроба, словно кто-то силится изнутри открыть крышку.

— Может быть, она не умерла?

— Вздор! — решительно возразил Фадлан. — Просто началось разложение... газы...

Он снова сказал что-то слугам. Они легко подняли гроб и безмолвно понесли его к маленькой двери, скрытой в глубине комнаты. Она вела через узкий и недлинный коридор в небольшое помещение, где стоял металлический аппарат, нечто вроде большой цилиндрической печи, напоминавшей топку локомотива.

— Это аппарат для сожжения путем электричества, — сказал Фадлан. — Менее чем через десять минут мы получим вот из той дверцы пепел, — все, что останется от тела бедной Таты. Аппарат так остроумно устроен, что сам ссы-

пает пепел в урну и сам ее запечатывает.

Носильщики поставили гроб на выдвинутую из устья печи платформу. В гробу снова послышались стуки. На этот раз они были громче и определеннее.

Моравский был бледен, как полотно.

По знаку Фадлана, слуги опустили рычаг. Подвижная платформа сама собой вдвинулась в устье и тяжелые металлические дверцы скрыли за собой черный гроб.

Фадлан кивком головы отпустил слуг.

— Теперь — огонь! — сказал Фадлан и нажал кнопку.

Из-за плотно закрытых дверей печи послышалось продолжительное рычание. Оно усиливалось, росло и перешло в протяжный скорбный стон, понемногу стихавший и закончившийся каким-то странным звуком. Точно тяжелый вздох, полный отчаяния и тоски, потряс и ночь, и комнату, и весь дом.

— Кончено, — проговорил Фадлан.

Он вынул платок и вытер катившиеся со лба крупные капли пота.

— Здесь нам больше делать нечего, пойдем в лабораторию.

— А урна?

— Нужно, чтобы пепел остыл. Это можно оставить и до завтра.

Они вышли из комнаты, причем Фадлан плотно запер двери и замкнул их, взяв ключ с собой.

В лаборатории все оставалось по-старому. Исковерканная Лемурией полоса железа валялась в углу. Кубок лежал на полу, три других рядом с амфорой стояли на столе. Все это восстановило пред глазами Моравского картину последних минут Лемурии. Он чувствовал себя совсем нехорошо: нервы были натянуты до чрезвычайности, голова слегка кружилась, и он недостаточно ясно представлял себе окружавшую действительность.

— Я так поражен происшествиями сегодняшней ночи, — сказал он, — что никак не могу собраться с мыслями. Что это, во сне или наяву? Не сошел ли я с ума? Пока еще, кажется, нет. Если бы пришлось начать все сызнова, я, пожа-

луй, не выдержал бы... Но мне все-таки хочется последнего разъяснения.

— Спрашивайте.

— Скажите: ведь теперь должен был произойти второй выход астрала из тела и опять астральная сущность и... дух... не бедная Тата, но Лемурия, должен был испытать это страшное разделение. Ведь это очень жестоко... Во второй раз!

— Несомненно, — ответил Фадлан. — Но второе освобождение астрала должно было произойти несравненно быстрее, чем первое. Огонь, уничтоживши физическое тело, в несколько секунд освободил астральное и, таким образом, Лемурия боролась очень недолго и сейчас же сознала саму себя.

— Но стуки, доктор?

— Видите ли: она хотела нас уничтожить, но мы счастливо избежали смерти, прибегнув к хитрости. Но, конечно, она умерла с желанием привести в исполнение свою угрозу. Она могла попробовать сделать это и после своей физической смерти, действуя на нас своим астральным влиянием. Тут она встретила с неожиданным препятствием: я огражден от действия астрала, дорогой мой доктор, до тех пор, пока сам не захочу подвергнуться этому действию. А вы, друг мой, находитесь под моей охраной. Так вот, столкнувшись с препятствием, астральное воздействие получило обратный толчок... Вот что значили эти стуки.

— Но она не очень страдала? — спросил Моравский, внутренне содрогаясь.

— Очень мало, — подтвердил Фадлан. — Не более секунды. Астрал освободился почти сейчас же при втором выходе.

Он помолчал немного.

— Этот опыт, не совсем удачный, вас поражает, дорогой профессор, — снова заговорил он. — Но что вы скажете о дальнейшем? Несомненно, психическое существо Таты, ее настоящая личность не будут нам возвращены никогда. А между тем, мне кажется, что она могла бы снова возродиться на земле — и не захотела... А теперь проследите за моим рассуждением. Злобное существо, завладевшее ее те-

лом, поставило меня в необходимость уничтожить это тело. Но это не значит, что мы не можем идти дальше в том же направлении. Мы не вызовем реальной личности, но восстановим только форму. Мы будем иметь в основании нового опыта ничтожные остатки астрального тока, нечто аналогичное тому пеплу, который остывает сейчас в урне. Каждое зерно этого пепла содержит в себе часть эфирной субстанции, так что мы можем овладеть до некоторой степени, выражаясь грубо, как бы щепоткой эфирных частиц души, которые остается только сочетать известным путем, чтобы восстановить жизнь. Подобно тому, как мы можем, смешав пепел с водой, сформировать из полученной массы статуэтку, похожую на покойную Тату или на кого угодно, так точно можно из полученной флюидической массы материализовать изображение этой прелестной девушки. А получив это изображение, можно будет оживить его — вы понимаете?.. Это будет, так сказать, одухотворенная и переведенная в нашу действительную жизнь, в нашу земную жизнь, оживленная материализация...

Моравский с удивлением смотрел на Фадлана, совершенно подавленный его неисчерпаемой энергией и волей.

— Не думаю, чтобы вы приняли участие в моем новом опыте, дорогой профессор, — продолжал Фадлан. — Он будет, несомненно, гораздо поразительнее того, что вы видели, а вы уже и теперь совсем расстроены. Во всяком случае, наша работа на сегодня окончена. Я не могу признать опыт удачным. Кто знает, какие последствия его ожидают нас в будущем и как отразятся они на ходе дальнейших работ? А работы еще много, я не вижу ей конца. Но меня утешает то, что есть и положительный результат, я убедился, что... несчастная Тата стала жертвой той дамы, отвратительной Джординеско, я не ошибся! Помните, коллега, что говорил я вам о вампирах? Вот тогда вы мне не поверили; ну, а теперь? Придется побороться, может быть, даже умереть... Ну что ж, война так война, поборемся!

Он тряхнул плечами, точно приняв какое-то решение.

— Но все же опыт наш неудачен; было очень много неожиданностей.

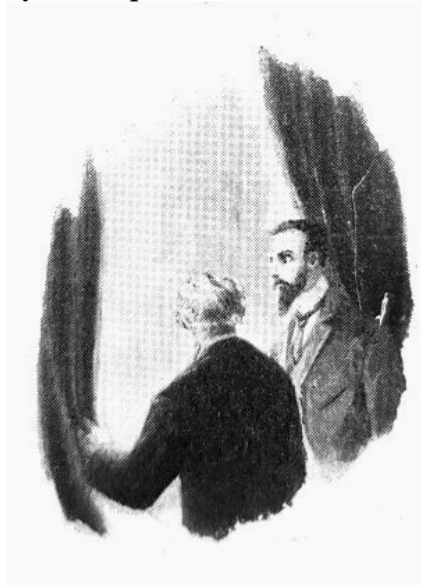
Он помолчал, как бы собираясь с мыслями.

— Чего я не могу себе простить, так это то, что я упустил лявву. Это очень неосторожно. Бедный мой профессор, я думаю, вы и до сих пор еще не пришли в себя, все еще как во сне? Ну, — баста! Трудовая ночь кончена... Да и настоящая ночь, пожалуй, прошла. Лампады наши давно погасли, с ними ушли все ужасы, а?

Действительно, зеленые лампадки уже не горели у черного катафалка и один простой поворот выключателя погрузил всю лабораторию в темноту. Фадлан подошел к окну. Он энергичным движением руки дернул за шнурок: зазвенели колечки, зашуршали тяжелые складки и занавеси распахнулись на обе стороны, открыв широкое и высокое зеркальное окно.

Слабый красноватый свет зачинающегося морозного утра пробрался в лабораторию и прогнал ночные тени. С ними ушли и ночные страхи и весь ужас пережитой ночи. Резче выступили понемногу дальние углы обширной комнаты со странными и необычными инструментами и машинами. Заагнали самшитовые статуэтки на полках, скарабеи словно ожили — вот-вот поползут в проясневшем сумраке, разорвав свою длинную цепь. И ясноло больше и больше утро, разгоралось все ярче и ярче, уже рдели багряным светом и кое-где нестерпимо горели блестящие искорки на полированном карнизе...

Еще мгновение — и яркий солнечный луч ворвался в окно и рассыпался тысячами сияющих звезд и бликов по всей лаборатории. Наступило ясное безоблачное морозное утро, прелестное зимнее петер-



бургское утро, красота и гордость северной страны.

Оба доктора молча следили за волшебной игрой света и тени, поглощенные неожиданной красотой дивной картины. Душа Фадлана рвалась к свету, ему до боли хотелось раствориться в потоке расплавленного золота и пурпура, врывавшемся сквозь широкое окно, но время еще не наступило... А в душе ученого профессора звенели какие-то неведомые струны, и дивный, давно забытый аккорд звучал в старом сердце. словно что-то родное, близкое, какое-то сладкое детство надвигалось на него, хотелось материнской ласки, грезилась русые кудри и бледная узкая рука, и белый полог чистенькой кровати, и тихая лампадка перед образом. Все это было когда-то и все это ушло и расплылось в сумраке былого. А теперь? Теперь ужасные упражнения минувшей ночи и этот страшный труп, и уничтожение.

Фадлан первым стряхнул с себя очарование победного утра.

— Какая красота, мой дорогой друг, не правда ли? Петербург шлет нам награду за сегодняшние наши труды... Здравствуй, солнце, здравствуй, утро! А вот и музыка, вы слышите? Слушайте, слушайте...

Где-то далеко звонили к обеду — шел уже девятый час. Отдаленный звон колокола доносился сквозь двойные рамы; но и заглушенный, он был мелодичен, музыкален и певуч.

— Это чудное утро... и этот звучащий звон, — сказал Фадлан, — как гармонично сливается все в стройном хоре хвалы Творцу! Знание, ослепляющий свет знания! Не простой ли чад и утар ты перед тихим светом великого солнца вечной всепроникающей любви? Пойдем... скорей пойдем туда, под своды храма, где приносится жертва любви, где на ее алтаре сегодня, как и всегда, заколется чистый Агнец, добровольно взявший на себя некогда всю скорбь, печаль и горе, все слезы и огорчения нашей грешной земли!

— Разве вы христианин, Фадлан? — спросил Моравский.

— Разве есть пред Ним, Единственным, христиане или язычники или мусульмане? — в свою очередь опросил Фад-

лан. — Есть только те, кто пламенно веруют в ожившее Искупление, кто веруют в силу Его поистине нездешней любви. Неужели вы думаете, что и там есть перегородки, которые вы здесь понастроили, безумно перегородив широкое русло великой реки?.. Но ваше лицо, бедный мой друг, утомленное и желтое, красноречиво говорит об усталости; может быть, вы вовсе не расположены? Может быть, вы хотите отдохнуть?

Моравский провел рукой по лбу, откинув непокорные седые пряди. Он, действительно, чувствовал себя утомленным, но порыв Фадлана заразил его, разогрел и придал силы.

— О нет, — сказал он, — отдохнуть можно и потом. Нужно ловить такие минуты, они драгоценны!

Они направились в переднюю, где их ждал чалмоносный слуга, одели шубы и вышли на улицу. Петербург уже давно проснулся. Гудели колокола, скрипели полозья, грохотал и звенел трамвай, дворники скребли тротуары, наполняя морозный воздух визгом железа, трущегося о камень. Мороз весело пощипывал нос и уши, иней серебрился на воротнике.

И оба доктора почувствовали властную силу будничной жизни, и прошлая ночь улетела куда-то далеко, словно ее и не было вовсе.

— Я совсем ожил, — проговорил Моравский, радостно вдыхая полной грудью свежий воздух. — Настолько ожил, что хочу, пользуясь тем, что иду с вами, послушать вашей мудрости.

Фадлан улыбнулся.

— Разве есть моя мудрость или ваша? И почему вы думаете, что я мудр?

— А сегодняшняя ночь?..

— Это был только простой опыт, это было только знание. Может быть, это было именно безумие, за которое я буду еще наказан. Но мудрость?.. Хорошо, хотите, я вам расскажу что-нибудь из наших древних книг?

— О да! Я весь внимание и слух, дорогой доктор.

— Хорошо, слушайте. Тело — оболочка души, которая в нем живет, — есть вещь законченная. Но душа невидима, неизменяема и вечна. Земной человек троичен, подобно божеству, которое он отражает: дух, душа и тело. Если душа соединяется с духом, она достигает Саттвы, мудрости и мира; если она безразлична между духом и телом, она управляется Раей — страстью и переходит от предмета к предмету в фатальном круге; если она отдается телу, она впадает в Таму, бессмыслие, невежество и временную смерть. Вот что говорит Кришна.

— Но какова же судьба души после смерти? — спросил Моравский. — Подчиняется ли она тому же закону, или может его избежать?

— Она никогда его не избегает и всегда ему подчинена. В этом сказывается тайна истины перевоплощения. И как беспредельные глубины неба открываются лучами далеких звезд, так неизмеримая глубина жизни освещается светом этой истины. Если тело подчинялось мудрости, душа улетает к тем, кому дано познать Всевышнего. Если тело подчинялось страсти, душа снова воплощается среди тех, кто привязан к земному. Если тело подчинялось невежеству, отягченная материей душа воплощается среди неразумных существ.

— Это справедливо, — сказал Моравский. — Но что будет с течением веков с теми, кто следовали по пути мудрости и кто живут после смерти в чистых сферах?

— Такой человек, — отвечал Фадлан, — наслаждается в этих сферах в течение многих веков всеми радостями, которые заслужил он своими добродетелями. Все-таки после он возвращается снова, чтобы воплотиться в какой-нибудь святой и чистой семье. Но очень, очень трудно заслужить подобное перевоплощение в этой жизни, — это удел очень немногих... Человек, рожденный вновь при таких условиях, находится в той же степени приближения, в какой был при своей смерти, и должен снова начать работать для самосовершенствования и достижения блаженства.

— Но тогда, значит, и лучшие принуждены возрождаться и возобновлять телесную жизнь? Неужели же и для тех,

кто следует мудрости, пет конца в вечном возрождении?

— Есть величайшая и глубочайшая загадка, главнейшее из сокровенных и чистых таинств, мой дорогой друг! Для того, чтобы прийти к совершенству, нужно достигнуть сознания божественного единства, которое еще выше мудрости. Нужно подняться к чудному Существо, высшему души, высшему даже духа. Это дивное Существо, этот сокровенный друг живет в каждом из нас, но мало кто умеет его найти. Вот дорога к спасению. Как только сознал ты это Существо, которое выше всего мира и вместе с тем в тебе, говорит Кришна, не бросай бороться с врагом, который принимает форму желания. Обуздывайте ваши страсти. Чувственные радости — оковы, отягчающие вашу душу. Не ограничивайтесь деланием блага, но будьте в самом деле добры. Творите добро для добра, а не для благих последствий; не помышляйте о следствиях ваших добрых дел, но пусть каждый ваш поступок будет жертвой Высшему Существо. Человек, приносящий свои желания и дела Существо, в котором заключено все и которым создалась вселенная, достигает подобной жертвой полного совершенства. Будучи уже духовно связанным, он привлекает эту духовную мудрость, которая выше всяких жертв. Потому что тот, кто находит в себе самом свое счастье, радость и свет — сливается с Богом. И знайте, что душа, нашедшая Бога, освобождена от перевоплощения и смерти, от старости и горя, ибо пьет от источника бессмертия...

— Это поразительно красиво, — пробормотал Моравский. — Неужели это действительно так? О, если бы кто-нибудь мог мне доказать это!

— Так говорит одна из наших древнейших книг, Бхагаваджита, дорогой коллега, и блажен, кто может верить написанному в ней.

— Бхагаваджита... я не слыхал о такой книге... я слышал о Ведах.

— Небо мой отец, зачавший меня. Семья моя — все небесное воинство, моя мать — великая земля. Высота ее поверхности — моя колыбель, там отец нисходит к той, кто его жена и дочь. Так пели у нас пред алтарями пять тысяч лет

тому назад, сжигая перед ними священные травы... О Агни! Священный огонь, очистительный огонь! Ты, спящий в дереве и восходящий в блестящем пламени, — ты сердце жертвы, священная тайна молитвы, божественная искра, живущая во всех, и прославленная душа солнца! Вот, дорогой мой друг, что говорят Веды. Тот, кто создал миры, троичен: он Брами, отец; он Майя, мать; он Вишну, сын; сущность, существо и жизнь. Каждый вмещает в себе двух других, и все три — единица в непостижимом. Так говорят Упанишады. Но, дорогой друг мой, и Бхагаваджита, и Веды, и Упанишады — все говорят об одном и том же. Познай самого себя — и ты познаешь вселенную и Бога.

Знание и религия, эти стражи человеческого развития, потеряли свой священный дар, свое таинство, великую и крепкую силу воспитания. Храмы Индии и Египта породили величайших мудрецов на земле. Храмы Греции были построены героями и поэтами. Апостолы Христа были священными мучениками... Но теперь ни церковь, скованная догмой, ни знание, скованное материализмом, не могут создать совершенных людей. Искусство создавать и воспитывать великие души потеряно. Оно будет найдено только тогда, когда знание и религия, соединившись в живую силу, сольются воедино в великий аккорд для блага и спасения человечества. Рама был только дверью храма. Кришна и Гермес нашли ключ. Моисей, Орфей и Пифагор вошли вовнутрь, но один только Христос был его святилищем...

Моравский изумленно смотрел на Фадлана, и изумление это росло с каждым его словом.

— Да, мой друг! Познай самого себя — и ты познаешь вселенную и Бога, — продолжал Фадлан. — Такова надпись на храме Дельфийского оракула. Я прибавлю сюда другие забытые слова. Сон, мечтание и экстаз — вот три открытые двери в область потустороннего, откуда приходят к нам божественные знания души... Но вот и церковь, доктор! Войдем?

Действительно, они подошли к церкви, стоявшей в глубине сада. Белая колокольня резко выделялась среди оголенных черных деревьев. Но она была безмолвна, и колокол

не посылал более своей певучей волны: служба уже началась.

— Войдемте, профессор?

Но Моравский отказался. Он крепко пожал руку Фадлана и, подзвав ближайшего извозчика, уехал к себе домой: он едва держался на ногах от усталости.

Фадлан один вошел в старую церковь.

Там почти никого не было. Только две древние старушки стояли у клироса, на котором пел единственный дьячок. Большая церковь казалась еще больше и пустынное благодаря отсутствию народа. Но, несмотря на пустоту, а может быть, именно благодаря ей, старенький, седой, как лунь, священник с умилением говорил слова возгласов. Мерцали свечи, слабый запах ладана носился по церкви, синеватые облака плыли над престолом и, казалось, Кто-то невидимый недвижимо стоит за ним, ожидая людских молитв и слез.

И Фадлан, опустившись на колени, начал горячо молиться...

О чем молился, о чем мог молиться ученый доктор, воскреситель мертвецов?

VI

Моравский продолжал читать свои лекции, как всегда, и, как всегда, лекции его были блестящи и увлекательны, привлекая множество слушателей. Как всегда, Моравский занимался в своей клинике. И, как всегда, больные были в восторге от своего внимательного и ласкового доктора, и многочисленные пациенты не могли пожаловаться на лучшего из практикующих врачей Петербурга.

Но что-то порвалось в нем, что-то ушло. Возвратясь к себе домой после трудового дня, Моравский не чувствовал никакого нравственного удовлетворения. Ему казалось, что он громоздит ошибку на ошибку, что есть какая-то иная, более правильная и могучая система лечения, и это терза-

ло и мучило его. Былая ясность духа оставила старого профессора: он все еще не мог отделаться от впечатлений странного и страшного опыта Фадлана. А Фадлан, как нарочно, почему-то не шел к нему. Кончилось тем, что Моравский вторично завернул к своему бывшему ученику.

Стояла отвратительная погода, гнилой день петербургской оттепели. С крыш лились ручьи талой воды, растекавшейся по широким тротуарам; мутные потоки текли и из переполненных полузастывших шаек, подставленных под водосточные трубы. С серого неба без конца сыпались снежинки вперемешку с мелким дождем, — нельзя было отличить, где кончается дождь и начинается снег. Иногда порывы теплого ветра с моря пестрили мелкой рябью темные полыньи на реке и, со свистом пронесшись по улицам, уныло выли в телеграфных проводах. Нева вздулась под посиневшей ледяной корой, горбом поднявши Дворцовый мост и выпятив садки у набережной. А Исаакий, одетый сверху до низу в изморозь, как в ризу, весь белый стоял над Невой, указывая своими снежными одеждами на то, что температура поднялась выше нуля.

И вот в такую непогоду и слякоть Моравский направился к Фадлану, не боясь ни ревматизма, ни воспаления легких, ни простуды. Он пожалел кучера и не приказал заложить каретку; но не пожалел себя и отправился на извозчике, покрепче нахлобучив шапку и высоко подняв меховой воротник своей шубы.

Фадлан радостно поднялся на встречу входившему в кабинет профессору.

— Дорогой учитель, вы ли это? Какими судьбами? Вот-то не ожидал вас видеть, да еще в такую погоду! Вы совсем себя не бережете... Мне так стыдно, что я еще не был у вас: собирался каждый день и, как назло, — все что-нибудь да помешает.

— Бросьте, — улыбнулся Моравский. — Я и вправду обижусь, если мы будем считаться визитами. Да послужит вам наказанием насморк, который я уже схватил и который перейдет к вам.

Он уселся в мягкое кресло перед рабочим столом Фад-

лана.

— Я к вам по делу. За советом и помощью. Я, кажется, схожу с ума, и вы должны меня вылечить.

— Это по вашей специальности, — в свою очередь улыбнулся Фадлан. — Вы сами себя вылечите скорей и успешней, чем я. И потом, вы и... сумасшествие! не вяжется.

— Я говорю совершенно серьезно. Что это за аппарат там у стены?

Он указал на нечто вроде овального полированного диска, сделанного из какого-то белого металла и стоявшего в углу на треножнике. Диск этот казался очень большим, фута четыре в длину и три в ширину; он был заключен в деревянную оправу, охватывающую его со всех сторон. От диска шли провода к круглому клапану, прикрепленному к стене на деревянной подушке. От клапана тоже шли провода к маленькому звонку, стоявшему на письменном столе Фадлана. Рядом со звонком виднелась небольшая клавиша, которой, по-видимому, заканчивался весь этот аппарат.

— Что это за аппарат? — повторил Моравский.

— Это одно из тех зеркал, которыми я пользуюсь, чтобы видеть на расстоянии. Я называю его зеркалом астрала. А это телефон того же рода. Вместе они составляют аппарат, благодаря которому в каждый данный момент я могу пользоваться некоторыми астральными особенностями и приводить их в действие в случае надобности. Иногда меня вызывает к аппарату вот этот звонок... видите? Все это построено на чисто научных основаниях.

— Любопытно... Было бы очень интересно увидеть его в действии... Но вы замечаете, дорогой друг мой, какой скачок мысли? Я говорил о своем нездоровье и вдруг об аппарате. Это нехороший симптом, не правда ли?

— Полноте, дорогой профессор. Вы прекрасно знаете, что у вас вовсе не то.

Моравский тихо покачал головой.

— Со времени вашего опыта я не имею покоя, — сказал он. — Мне нужно, чтобы вы прочитали мне целый курс ваших знаний... ну, если не курс, я не смею надеяться на это, так хоть бы введение в него. Иначе мне грозит помешатель-

ство. Я говорю совершенно искренне; понимаете ли, Фадлан, я потерял самого себя! Я ничего не понимаю. У меня все перепуталось. И если я практикую по-прежнему, если я читаю свои лекции и вожусь в клинике, так все это только по инерции, а внутреннего содержимого во мне нет, и куда оно ушло — я не знаю.

Фадлан внимательно посмотрел на профессора.

— Если вас смущает это... Почему вы думаете, что я не мог бы ввести вас в курс моих знаний? И отчего бы не начать сейчас? Вы никуда не торопитесь?

— Я буду сидеть у вас хоть всю ночь...

— Отлично! Ну, так вот, слушайте. Я начну с теории. Только прошу вас, дорогой профессор, не перебивайте меня, а спрашивайте, когда я кончу.

Он стал ходить взад и вперед по кабинету, как бы обдумывая слова и подбирая выражения. Потом остановился у стола и начал:

— Вся природа, весь видимый и невидимый мир, все, что мы видим, чувствуем, даже мыслим — создано и управляется всеобщим, вечным и живым принципом. Их и не может быть два, потому что они были бы или похожи друг на друга, или различны; если они были бы различны, они уничтожили бы друг друга, а если были похожи, то это выходило бы все равно, что один. Единство художества во всем творимом и сотворенном разнообразии указывает на единство принципа. Несомненно, что он должен проявлять себя во всяком существе; а если не так, то совсем не существует всемирного и вечного принципа.

И нет ни одного движения, ни одного дыхания, ни одной мысли, которые не были бы прямым следствием одной всеобщей причины, всегда существующей в наличности в каждую данную минуту жизни всего мира.

Материя вселенной принадлежит Богу так же, как идеи, и идеи принадлежат Ему так же, как материя. Может ли что-нибудь быть вне Его? Он — великое Все, всеобщий принцип всех вещей, и все живет в Нем и через Него.

Вечный существует, Высшее Существо, открывающееся в радости и счастье. Вселенная — Брама, она рождена Бра-

мой и возвращается к Бrame. Так говорят Веды.

Я все, что было, что есть и что будет. Никто из смертных еще не поднял покрывала, скрывающего меня. Такова надпись на древнем храме в Саисе.

Иди твердой стопой в знаниях и удивляйся Господу вселенной. Он един и живет только через Себя. Ему одному обязаны жизнью все существа и Его могущество проявляется всюду и через всех. Невидимый, Он один видит все вещи. — Так поется в одном из Елевзинских гимнов.

Бог все и во всем. Его Слово, создавшее все, есть принцип всех вещей. — Так учат христиане.

Но для того, чтобы поклоняться Богу, служить Ему и познать Его, нужно познать сущность вещей. А для познания этой сущности нужно изучать науки. Природа создала животное и только знание делает его человеком.

Вот это-то знание говорит нам, что единство царит во всех законах природы. Единство материи, единство сил. Было бы нелогично, если было бы иначе, ибо единство Творца отражается и в творении. Все едино, — и дух и материя одно.

Помните это. Дух и материя — одно. Это краеугольный камень всего учения...

— Я не понимаю, — не выдержал Моравский. — Как это может быть? То, что вмещает в себе понятие о духе, как о чем-то высшем, никак не укладывается с представлением о материи. Мне кажется, напротив, что эти два понятия совершенно противоположны, диаметрально противоположны! Я допускаю, что, может быть, дух проникает материю. Я допускаю, что дух творит из материи нечто... оболочку, форму, известное приближение, конденсирует материальные силы, может быть. Единство материи — пусть так. Единство духа, — пожалуй. Но единство духа и материи? Это совершенно недопустимо.

Фадлан укоризненно покачал головой.

— Разве мы спорим, дорогой профессор? Я только ввожу вас в курс моих знаний, а примете вы его или нет — это уже не от меня. Я просил вас не перебивать меня вовсе не из-за пустого лекторского тщеславия, а чтобы не сделать

ошибки. Я понимаю, что вам, человеку Запада, многое покажется странным и непонятным. Спрашивайте, — я вам отвечу, но только потом. Желаете ли вы, чтобы я продолжал?

Сконфуженный Моравский молча поклонился Фадлану. В кабинете наступила тишина, прерываемая только местами стуком маятника больших часов, стоявших у входных дверей.

Фадлан снова зашагал назад и вперед по мягкому ковру, совершенно скрывавшему его шаги.

Наконец он остановился и заговорил:

— Учитель седой древности, Пифагор, изобразил Бога единицей, а материю — двумя. Начертание двенадцать, один и два, означало у него вселенную, как следствие их соединения. Это число получается через умножение трех на четыре. Философ хотел выразить этим, что он понимает вселенную, как составленную из трех особых миров, которые, связываясь один с другим четырьмя элементарными влияниями, раскрывались в двенадцати сферах, имевших один общий центр.

Великое существо, Бог, наполнял Собою все двенадцать сфер, но не был ограничен ни одной из них. Душой Его была истина, а телом — вечный свет.

В трех мирах обитали существа, во-первых — бессмертные боги, во-вторых — прославленные герои и в-третьих — земные демоны.

Бессмертные боги назывались так потому, что были непосредственными проявителями бесконечных свойств Единого Существа и Его эманациями.

Они никогда не могли впасть в грех забвения их Отца, не могли блуждать во мраке неведения и греха. Поэтому-то они и были бессмертными, так как смерть духа именно заключается в неведении и грехе. Что же касается двух других категорий, то они происходили от душ людей, сообразно степени их чистоты. Поэтому и прославленные герои и земные демоны могли иногда умирать в блаженной жизни через добровольное удаление от Бога.

Божественная Единица, как разумная душа вселенной, начало жизни, свет светов, проникала Собою все, повсюду

и везде. В бесконечном творчестве Она производила, через эманацию, как бы рассеяние своего живительного света, который, направляясь от центра к поверхности, постепенно терял свой блеск и чистоту по мере удаления от источника жизни. В конце концов лучи вечного света, совершенно ослабленные, смешивались с мраком. Но мрак отталкивал их; они, захватив в вихре своем частицы мрака, сгущались, уплотнялись, грубели вследствие присутствия этого мрака и, принимая материальные формы, создали все роды существ и вещей, которыми наполнен мир.

Таким образом философ связывал Высшее Существо и человека бесконечной цепью посредствующих существ, чье превосходство убывало сообразно удалению от вечного Творца.

Персидские маги признавали эти существа более или менее совершенными гениями, дали им различные имена и пользовались этими именами, чтобы их вызывать. Эту магию персов евреи перевели под именем каббалы, воспользовавшись вавилонским пленением. Затем эта же магия смешалась с астрологией у халдеев, которые принимали звезды за живые и одухотворенные существа, принадлежащие к всемирной цепи божественных эманаций. Эта магия присоединилась к мистериям Египта, где жрецы скрыли ее в символах и иероглифах.

Пифагор изобразил иерархию духа от Бога и до человека геометрической прогрессией. Он назвал гармонией вечное движение сфер и воспользовался цифрами, чтобы выразить качества и влияния различных существ. Платон назвал эти существа идеями и типами. Гностики называли их эонами.

Фадлан остановился на минуту и снова зашагал по кабинету. Моравский, согласно уговору, не проронил ни слова и терпеливо ожидал продолжения импровизированной лекции своего друга.

— Я излагал вам историю, — снова заговорил Фадлан. — Я знаю, что вам хочется скорее добраться до сути. Но уверяю вас, что древние в своих верованиях были гораздо ближе к этой сути, чем нынешние философы, ученые и бого-

слова. Впрочем, об этом мы будем говорить после, я приведу вас от тех времен к современному. А теперь — простите мне некоторый скачок мысли и слушайте дальше.

Движение, вернее, вибрация, это дыхание живого и действующего Бога среди созданных уже вещей. Материя — ничто, движение — все. Под словом материя мы подразумеваем отсутствие движения, тогда как под словом сила — его активность. Таким образом, вот вам вновь единство, о котором я уже говорил раньше, единство — основной закон всех оккультных знаний.

Теперь, — слушайте, профессор, я говорю вам о важнейшем, что сейчас доступно вашему пониманию, затемненному теми науками, которые вы изучали до сих пор. Примите мои слова пока на веру. Я мог бы сослаться на тот опыт, свидетелем которого вы были всего несколько дней тому назад. Но в будущем, если хотите, я дам вам реальное доказательство того, о чем сейчас буду говорить.

Существует вещественный и вместе с тем чудесный деятель, в одно и то же время материальный и духовный, могущественный и всемирный, общее подобие вибраций движения и изображения форм; флюид и вместе с тем сила, — нечто вроде воображаемой картины вселенной во всей ее совокупности, со всеми ее представлениями, формами, силами, идеями и их взаимными соотношениями в прошедшем, настоящем и будущем.

Благодаря этой силе все нервные люди представляют собой одно целое; отсюда, из области этого деятеля, рождаются необыкновенные на первый взгляд симпатии и антипатии; отсюда приходят сны; этой силой и только благодаря ей происходят явления двойного зрения и так называемые сверхъестественные видения. Это всепроникающий деятель работ природы, это «од» евреев, это астральный свет мартинистов.

Вера в существование и возможное использование этой силы есть великое правило практической магии, как ветви оккультных наук.

Астрал освещает, магнетизирует, притягивает, отталкивает, живит, разрушает, собирает, разъединяет, ломает и



вновь соединяет все под влиянием могущественной воли, повинуюсь ее желанию.

Мировой свет, проникая вселенную, называется астральным светом. Если он формирует металлы, он называется азотом; если он одушевляет живые существа, он называется животным магнетизмом.

Этот могучий деятель проявляется в четырех видах, которые названы нашей грубой наукой теплотой, светом, электричеством и магнетизмом. Он четвертая эманация Великого. Он и субстанция и движение. Он флюид и вечная вибрация.

Вы хотите опытов? Хорошо, дорогой профессор, спустимся с неба на землю. Слыхали ли вы об опыте Роша, которому удалось сфотографировать нечто вроде астрального изображения минерала? Слыхали ли вы о Рейхенбахе, который доказал существование астрального света, назвав его словом од?

Рейхенбах брал для своих опытов людей с особенно тонкой чувствительностью, сенситивов, и они видели, будучи поставлены в известные условия, потоки света, истекавшие из магнитов, различных предметов и из людей.

Голубые одические лучи окружают дрожащим ореолом голову человека, ярким сиянием исходят из конечностей. Наэлектризованный человек, стоящий на изолирующей подушке, окружен блестящим облаком, как бы сияющей атмосферой; голубой и красный пламень вырывается крутящимся вихрем из его рук и ног. Наконец, каждое животное испускает одические лучи: с правой стороны — голубые, с левой — красные.

Од исходит из всех тел, одушевленных и неодушевленных, организованных и неорганизованных; его порождает удар, звук, мысль; он исходит из глубины земного шара в беспредельное пространство и лучи его, нисходящие с небесных тел, действуют на нас. Солнце шлет нам голубые одические лучи и луна шлет нам свой красный од.

Это уже почти ваша наука, дорогой друг мой и учитель, — не правда ли? Это уже опыты, записанные и проверен-

ные жрецами того идола, которому поклоняетесь и вы.

Перейдем к опытам физическим.

Сенситивы Лепеллетье, расположенные вокруг чаши с холодной водой, протягивали свои руки над ее поверхностью, и вода закипала через две минуты. Под влиянием той же силы маленькая ветряная мельница начинала вертеться с поразительной быстротой. Зеленые листья, насаженные на прут, поднимались и опускались при наложении руки сенситива на вершину прута. Наконец, три сенситива простым наложением своих рук на четвертого подняли его на воздух над матрацем, на котором он лежал.

Это тоже опыты, записанные и проверенные теми же жрецами, дорогой профессор.

Я сделал вам уступку, уклонившись в сторону опытов — возвратимся назад, на прежнюю дорогу.

Вы помните, что я говорил о единстве во всей вселенной? Итак, всюду и во всем проявляется одна единая сила. Не все ли равно, как вы ее называете? Называется ли она од или телесм, эфир или электричество, она все равно единственна. Название не существенно. Но существенно то, что сила эта притягивается человеческой волей и подчиняется ей. Это логично и закон единства не нарушается этим, так как воля сама по себе есть тоже часть этой силы.

Влияние воли абсолютно и могущественно.

Воля человека влияет на Божество, если она живет в могущественной душе, и при помощи Неба действует вместе с Ним.

Воля, просветленная законом Бога, может превозмочь даже самую неизбежность, повелевать природой и творить чудеса.

Не сказал ли Христос, что верой можно двигать горами? Ведь это прикровенное свидетельство о могуществе воли, ибо твердая вера дает и непоколебимую волю.

Чем больше воля, тем больше и существо, вмещающее ее, воля и свобода — одно.

Воля, без оглядки работающая на пути, который она выбрала пред собой, воля, непрерывно идущая вперед, это — вера. Она сама выковывает себе форму духа, вмещающая в себе

понятие всех вещей. Через нее душа получает могущество влиять на другую душу и проникать в самые сокровенные тайники человеческой души и сердца. И если воля человеческая действует по-Божьи и с Богом, она легко может ниспровергать горы, испепелять скалы, разрушать заговоры и все ковы нечистых служителей зла, посылая им могучее дыхание ужаса и беспорядка. Воля творит чудеса, повелевает небесам и морю, связывает даже саму смерть, ей подчинено все. И нет ничего во вселенной, чем не могла бы она владеть во имя всемогущего Бога.

Душа человеческая, развивающая в себе такую волю и владеющая ею, следует по стопам пророков и святых, Моисея, апостолов и самого Христа. Все посвященные и избранные имеют подобное могущество. Зло бежит перед ними и не дерзает появляться на их пути, пока им самим не угодно будет вызвать его для борьбы с ним. Они — обиталище Божие, Его священный храм и чертог, подножие Его престола, сияющие лучи Его вечной славы. Ничто не может повредить тому, в ком живет Бог. И Бог уничтожил бы вселенную, если бы не жил всегда, хотя бы в самом отдаленном уголке ее, хотя бы единственный носитель дивной воли, несокрушимой, как сталь, благородной, как золото, и чистой, как драгоценный бриллиант!

VII

Фадлан умолк, как будто бы подъем духа, с каким он сказал последние слова, истощил его. Потом, пройдясь еще раза два по кабинету, он с наслаждением растянулся в кресле, гляди на Моравского, окруженного облаками дыма: профессор выкуривал по счету десятую папиросу.

— Не довольно ли на сегодня? Я боюсь, что начну путать, — промолвил Фадлан. — Следующая лекция будет, когда вам угодно, но должен предупредить, что я не принадлежу сам себе: иногда меня может и не быть в назначенный час. Спрашивайте меня о чем хотите, дорогой про-

фессор, — я к вашим услугам.

Моравский задумался.

— Я все-таки не совсем ясно представляю себе именно то, что всегда мучило и мучает меня, — сказал он. — Что такое, все-таки, в сущности, Божество? Какое представление, по крайней мере, следует иметь о Нем?

— Это Существо не материальное. Так как Оно не доступно вашим органам чувств, вы не можете составить представления о Нем. Но вы видите Его творения. А они говорят вам, что Он вечен, всемогущ, наполняя Собою всю вселенную. Наиболее древняя из наших книг, Шастаха, говорит так: «Бог — это Тот, Кто был всегда. Он создатель всего, что существует. Он подобен сфере, которая не имеет ни начала, ни конца. Он управляет и господствует над всем, что создал, и высший промысел Его основывается на законах, Им же сотворенных. Но ты не будешь стараться проникнуть в изучение сущности Вечного, ни в то, по каким именно законам Он правит миром, ибо это напрасно и преступно. Достаточно с тебя, если ты будешь видеть в Его творениях, день за днем и ночь за ночью, Его мудрость, Его могущество и Его милосердие, — пользуйся им». Заметьте, что эти слова Шастахи написаны более пяти тысяч лет тому назад!

— Почему Бог сделал мир? Может быть, и это вам известно?

— Почему и для чего Он создал мир, нам неизвестно, так же, как и вам. А как Он создал его, раскрывает та же Шастаха. Любовь была божеством бесконечного в вечном. Но эта любовь проявляется тремя различными способами: созданием, сохранением и разрушением. Эти три способа представляют собой мудрость Божью, Его промысел и Его врага, и люди поклоняются под различными формами и символами этим трем способам проявления Высшего Существа как Создателю, как Промыслителю и как Разрушителю.

Божественная любовь произвела могущество. Это могущество в бесконечности времен однажды соединилось с благом, которое породило плод этого союза — всемирную природу. И вселенная была создана в том виде, в каком существует, соревнованием этих трех сил.

Различие между силой созидающей и разрушающей дало начало движению, и это движение было троякого рода: притяжение, отталкивание и инерция.

Эти три движения производят невидимый элемент, способный производить звук; этот элемент называется чистым эфиром. Чистый эфир рождает воздух — элемент легкий; огонь — элемент видимый; воду — элемент жидкий и землю — элемент тяжелый. Эфир распространился по вселенной и воздух окружил атмосферу; огонь, собрав свои частицы, зажегся в небе; вода под тяжестью земли поднялась в моря, озера и большие потоки, из которых впоследствии образовались реки.

Вот каким образом мир вышел из мрака, где Бог держал его до того времени. И правилом вселенной был порядок.

— Это красиво, — промолвил Моравский. — Поцелуй могущества с благом и их дитя — вселенная! Конечно, это символы. Но почему... скажите мне, пожалуйста, почему все священные знания и понятия всегда скрываются в символах и иероглифах?

— Символ... Скажите мне, в свою очередь, разве начертанное слово, буква, сами по себе не символ? А ведь знания передаются письменами...

— Слово — символ? Какой же символ? Символ чего?

— Конечно, символ. Символ звука, голоса и жеста. А если пойти дальше? Голос и жест — прямое порождение воли. Значит, слово — символ воли.

А начертание этого символа, письменный знак, буква — иероглиф воли. Вы удивляетесь, дорогой профессор? Вы этого не ожидали? Я скажу вам больше: не только сам знак, но соединение их и сам способ начертания символичны. В манере писать порой скрывается забытый символ происхождения народа, — история развития целой расы. Возьмем наиболее типичные, совершенно различные языки: китайский, еврейский и санскритский.

И вы увидите, что все народы, которые пишут, как китайцы, сверху книзу, от неба к земле — имеют происхождение, наиболее близкое к первоначальному источнику.

Все народы, получившие знания из восточного источника, как евреи, пишут от востока к западу, от правой руки к левой. И, наконец, те народы, которые получили знания от древних друидов и с запада, пишут от запада к востоку, от левой руки к правой, как пишется санскрит.

Но почему вас удивляет, что и мы скрываем свои знания в символах и вообще окружены тайнами и мистериями, недоступными толпе непосвященных? Видите ли, дорогой профессор, те знания, которыми я уже обладаю, и та наука, которую я изучаю, священны, и мы должны придерживаться седых традиций. Во все времена священное ведение было окутано покрывалом, которое приподнималось только при известных условиях. Оракулы и пророки всегда говорили не иначе, как иносказательно: они никогда не делились своим знанием с первым встречным, желавшим стать их учеником, а только с тем, кто был вполне готов и достоин воспринять это священное знание. Так было везде и у всех народов. И те, кто владели священной истиной, было ли то у египтян, индусов, греков или варваров, напрягали все усилия к тому, чтобы скрыть ее под покровом глубокой тайны, и никогда не высказывали ее иначе, как иносказательно, в символах и аллегориях. Если вы, дорогой друг мой, пойдете дальше по тому пути, который, кажется, хотите избрать, то вы постоянно будете встречать на своем пути символы. Даже в заклинаниях и молитвах, оставаясь наедине с самим собой и обращаясь к духу, который может читать в ваших мыслях, вы все-таки очень часто будете выражаться символически, ибо есть такие имена, которых не может назвать человеческий язык и не должно слышать человеческое ухо. Тогда вы будете брать символ вместо имени и аллегория вместо понятия.

Моравский, слушавший с большим вниманием Фадлана, усмехнулся.

— Вы говорите: молитвы и заклинания, — сказал он. — Я понимаю молитву, как обращение к Высшему Благу, если допустить Его существование. Но заклинания... нет, это вы оставьте. Я никогда не поверю, чтобы этот пережиток старины имел какое-нибудь значение в наше время.

— Однако, вы были свидетелем силы заклинаний, профессор? Это было не так давно, — возразил Фадлан. — Есть очень много такого, что покажется вам пустым пережитком, а на самом деле... Я бы очень хотел дать вам сейчас же живое и убедительное доказательство... Ого! Кажется, мое желание исполняется!

Он быстрыми шагами подошел к аппарату и прислушался.

— Так и есть, меня зовут. Пожалуйста сюда, профессор, послушайте-ка!

Моравский, сгорая от любопытства, почти бегом приблизился к Фадлану.

— Вы слышите что-нибудь?

Действительно, внутри овального медальона шуршало и скрипело. Потом что-то громко треснуло и полированная крышка его, повернувшись в деревянном ободе, с силой откинулась в сторону, обнаружив темное отверстие, прикрытое шлифованным стеклом. Отверстие это, казалось, вело в длинный темный колодезь, не имевший конца.

Колокольчик на столе Фадлана стал беспрерывно работать и дребезжащий звон наполнил весь кабинет.

— Что это такое? — пробормотал Моравский.

— Мы сейчас узнаем. И увидим и услышим. Приведем в действие аппарат.

Фадлан снял крышку с верхнего клапана. Потом подошел к столу и нажал клавишу, — звонок сейчас же прекратил свою работу.

— Теперь наблюдайте, дорогой профессор. Смотрите в зеркало и слушайте.

Они стали перед зеркалом и с напряжением стали вглядываться в его смутную глубину. Там пробегали какие-то темные, то светлые пятна, проходили точно легкие облака, светящийся туман, но не было видно никакого изображения.

Так прошло около пяти минут.

Фадлан и Моравский не отрывались от зеркала.

Но вот пятна ушли, светящийся туман рассеялся, появилось ясное и отчетливое изображение.

Пред ними была довольно большая комната, оклеенная темными, почти черными обоями. На окнах висели наглухо задернутые темно-красные гардины; такие же портьеры закрывали единственную входную дверь комнаты. Около самого угла была еще небольшая одностворчатая дверка. По стенам стояли шкафы с книгами; один из них был открыт, но на полках его, вместо книг, лежали свернутые в трубку бумаги и желтели пергаменты. У окна стоял большой письменный стол с креслом перед ним, два других помещались по его сторонам и одно напротив. А в углу был накрыт небольшой столик. На нем, на чистой скатерти, стояли два высоких подсвечника с зажженными свечами, лежали два куска воска и на самом краю небольшая медная курильница. Вся комната тускло освещалась этими двумя свечами и свет их кровавыми бликами ложился на ярко-красном ковре, устилавшем пол комнаты во всю ее длину.

Дверь тихо скрипнула. Моравский ясно услышал этот скрип, телефон Фадлана великолепно передавал звуки: голоса и шумы, казалось, происходили здесь, в самом кабинете, а не где-то там, в неведомом пространстве...

В комнату вошли двое: миловидная, совсем молодая девушка и уже пожилая дама. Большая темная шляпа почти закрывала густые волосы девушки, меховое боа закутывало ее шею; прекрасно сидящее платье, умение одеться, походка и вообще манера держать себя показывали несомненную принадлежность к интеллигентному классу общества. Пожилая, напротив, походила на сваху или, пожалуй, на что-нибудь еще худшее, — было очень странно видеть ее рядом с такой изящной барышней. Между тем, она была здесь если не хозяйкой, то, во всяком случае, своим человеком; в голосе ее звучали властные нотки и движения были уверенны, тогда как барышня стеснялась, робела и, видимо, чувствовала себя не по себе.

— Садитесь здесь, к столу, — сказала пожилая женщина.

Девушка села в кресло у письменного стола.

— Вы останетесь здесь. Он сейчас придет, он предупреж-

ден и все знает. Но все-таки вы должны с полной откровенностью отвечать на все его вопросы и исполнить все, что он скажет.

— Я боюсь, — сказала барышня.

— Вы не должны бояться, моя милая, — возразила женщина. — Помните, что вы пришли за тем, чтобы вернуть себе сердце любимого человека: приз велик!

Она вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой двери. Барышня осталась одна.

— Я знаю, в чем дело, — шепнул Фадлан на ухо Моравскому. — Будет энвольтование любви. А так как дело идет о возвращении любимого человека, то будет и энвольтование ненависти. Я предупрежден для того, чтобы помешать злему делу и наказать виновных, — мне нужно действовать.

Моравский удивленно взглянул на него.

— Я удалюсь на некоторое время и займусь ими, профессор. А вы оставайтесь и наблюдайте, это для вас любопытно. Мы скоро увидимся, через несколько минут. Но очень прошу вас, — не забудьте закрыть крышку зеркала, когда видение окончится.

Моравский молча кивнул головой.

— Не забудьте же закрыть аппарат, это очень существенно, — еще раз напомнил Фадлан и покинул Моравского.

Моравский продолжал наблюдать видение.

Теперь барышня сидела, опустив свою хорошенькую голову на руки; по лицу пробежала легкая судорога, кривившая ее губы. Она, должно быть, мучилась и нетерпением и страхом.

Маленькая дверца отворилась, в комнату вошел высокий человек, одетый в черную длинную хламиду. Лицо его скрывала небольшая бархатная полумаска. Его толстые чувственные губы и торчащие уши изобличали семитическое происхождение. Человек молча поклонился барышне и сел за стол напротив.

— Вы желаете вернуть себе любимого человека?

— Да.



— Принесли ли вы его изображение?

— Да.

— Принесли ли вы и другое, — о чем вам было передано?

— Да.

— Я приготовлю его изображение из воска и заклану его. Я приготовлю напиток, каплю которого вы прибавите к его питью. Имеете ли вы возможность и желание сделать это?

— Да.

— Он вас любил раньше?

— Нет... он был внимателен ко мне. Он любит другую, он — жених. Он меня не замечает, а раньше... Не знаю, любил ли, но ухаживал за мной.

— Я приготовлю ее изображение из воска и заклану ее. Я приготовлю пищу, которую вы передадите ей. Имеете ли вы возможность и желание сделать это?

— Да.

— Принесли ли вы ее изображение?

— Да.

— Подайте мне все, что вы принесли.

Барышня вынула из-за корсажа две маленькие фотографические карточки, потом порылась в своем ридикюле и, взяв оттуда небольшой пакетик, передала его вместе с карточками своему собеседнику. Он, в свою очередь, достал из стола изящную бонбоньерку с конфетами и, взяв принесенное девушкой, положил все вместе с бонбоньеркой на стол.

— Эти конфеты вы пошлете ей. Лучше понесите сами, чтобы они вернее попали по назначению. Снимите шляпу, бросьте боа и станьте у накрытого столика за моей спиной. Затем вы будете повторять за мной, про себя, те заклинания, которые я буду говорить.

Он взял из шкафа кубок с вином, две повязки, черную и розовую, поставил кубок вместе с черной повязкой на стол, а розовую надел на свою голову. Затем, взяв кусок воска, высоко поднял его над головой и произнес:

— Приди с твоего священного престола, о Адонаи, и да присоединится твоя великая сила к нашей воле!

— Венера, Амур и Астарот! Я вас заклинаю, всех трех служителей любви и всех ее наслаждений, известных нам и неизвестных! Я вас заклинаю Тем, Кто может все разрушить и все создать. Я вас заклинаю всеми именами Того, Кто ежедневно может вас уничтожить, — сделайте этот воск пригодным для моих целей! Возвеличьте его. Освятите его. Оживите его. О, Венера, Амур и Астарот! Преобразите его так, чтобы он получил необходимое достоинство, именем святейшего и всемогущего отца, Адонаи, чье царство бесконечно во веки веков!

Он тихо опустил воск на стол.

— И ты, великая звезда! Я заклинаю тебя, светлая, пламенеющая и влюбленная! Приветствую тебя, священную с востока, сиявшую подобием той, что явилась святому Леопарду, когда возносился он на небо. Я заклинаю тебя именем всемогущего Бога живого, чтобы ты шла, искрящаяся, за тем, кого я укажу, чтобы он был принужден исполнить

мою волю. Слышишь ли ты меня, звезда? Воля моя та, чтобы страсть пламенеющая вселилась в его кости, плоть и кровь, и не мог бы жить он без рабы моей, здесь мне служащей и помогающей, для кого произношу я это великое заклинание!

Он, согрев воск, стал быстро-быстро лепить маленькую фигурку, беспрестанно взглядывая на карточку. Потом, когда фигурка была готова, он поставил ее на стол, простер над нею свою правую руку, а левую положил на голову девушки.

— О, ты, Ориан, царь Востока, чье царство безначально! О, Паион, царь Запада! О, Амаймон, великий царь, владыка берегов астрала! О, ты, Егин, царствующий в септантрионе! Я вас заклинаю с кротостью и покорностью и прошу и умоляю именем Того, кто сказал и исполнилось и создал все и святым именем Божиим... прошу и умоляю проникнуть и преобразить это слабое ваяние, чтобы исполнилось мое желание, именем святейшего и всемогущего Адонаи. И вы, друзья наслаждений и любовных утех! Я вас заклинаю, Сейль, Силь, Садид, слуги любви и начальники дружбы! Я вас заклинаю Тем, Кто вас создал, страшным Судным днем, Тем, Кто держит землю и пред Кем дрожит небо! Я вас заклинаю одушевить это изображение, этот знак, эту фигуру, да тот, кто увидит, тронет или возьмет ее — захочет эту девицу, мою рабу, служащую и помогающую мне, будет ласкать и обожать ее одну, презирая других, бросая всех, и его мысль и душа будет всегда с нею!

Он взял пакетик и всыпал содержимое его в бокал с вином.

— Жизнь, слушай! Смерть, говори! Ты, Хаспар, премудрый маг, принесший золото нашей Бедности, подай мне мудрость будущего, принеси мне драгоценный металл совета. И ты, Мельхиор, премудрый маг, гордый старец, принесший ладан Кротости, увлажь мою сухость, изгони мою низость, поддержи меня в падении. И ты, Балтазар, премудрый маг, ближайший ко мне, принесший мирру Чистоте! Ты любил до смерти царицу Савскую, — вдохни всемогущую страсть в мои чувства. А вы, в каких бы странах света

как бы вы не назывались, я вас заклинаю, демоны любви! Я вас заклинаю, демоны, имеющие власть мучить сердца мужчин и женщин, я вас заклинаю Тем, Кто вас создал и может вас уничтожить, придите к этому питью и без замедления напайте его настолько, чтобы оно имело силу принудить мужчину, которого захочет эта девица, моя раба, служащая и помогающая мне, к ее любви!

«Что же Фадлан? — подумал Моравский. — Что же он не действует? Кажется, пора, насколько я понимаю...»

Он с любопытством и вниманием продолжал наблюдать видение.

Теперь человек в маске быстро лепил из второго куска воска вторую статуэтку и пальцы его с лихорадочной поспешностью мяли и формовали мягкий воск.

Он поставил фигурку на стол. Моравский заметил, что его голову украшает уже не розовая, а черная повязка.

— Изгладь меня из книги жизни, о Сатана, впиши меня в книгу смерти! Я обещаю тебе жертвы, какие тебе нравятся. Я магически уничтожу каждый месяц, в твою двухнедельную службу, маленького ребенка и кровь его я принесу тебе в жертву. Я дам тебе черное, какое любишь, и истреблю белое, какое ты ненавидишь, о Сатана! И вы, Аратор, Лапидатор, Тентатор, Коместор, Деворатор, Седуктор, служители разрушения и ненависти, сеятели ссор и вражды, я заклинаю вас страшным заклитием: сохраните и умножьте это изображение недостойной девицы, ставшей против рабы моей, служащей и помогающей мне, для ненависти и несчастий ее. Да оденет эту девицу моя ненависть и проклятие, как одежда ночная и всedневная! Да войдет во внутренность ее, как жидкость, да вселится в кости ее, как бог!

Он сделал знак над бонбоньеркой.

— Где вы, сеятели ссоры и зла, Аратор, Лапидатор и Седуктор? Где вы, творцы разделения, дети ненависти, создатели тоски? Я вас заклинаю именем того, кто вас создал и сделал своими помощниками, чтобы та, кто съест это или дотронется как-нибудь до этого, была всегда во вражде и никогда не могла бы быть призванной к миру!

Вдруг одна свеча потухла и восковая фигурка стала таять

и расплываться.

— Что это такое?.. Здесь кто-то есть, кто-то иной, кого я не звал, — вскричал человек в маске. — Скорей повторяйте за мной, громче, заклинание! — обратился он к барышне. Повторяйте же!

Но она вся дрожала; бледная, как полотно, и была не в силах вымолвить хоть одно слово.

«Это Фадлан... он действует», — подумал Моравский.

Теперь человек в маске со злобой тряс девушку, в беспомощности лежавшую на кресле. Наконец, он досадливо махнул рукой и один принялся за заклинания, бормоча скороговоркой:

— Игла... Агиот, Этхэль, Ван! Иа, иа, иа, Ва, ва, ва, Та, та, та, Эх, эх, эх! Малхин Иой Грабе Изе Агай Фогомос Хол! Пан, Гижеом! Ой, Анефенетон Нехон Иоа Гаш...

Он схватился за сердце, болезненно вскрикнул и упал у самого столика, кровавая пена показалась изо рта. Несколько судорог потрясло его тело и он вытянулся во весь рост на красном ковре. А миловидное лицо барышни, лежавшей в креслах, стало постепенно покрываться красноватыми пятнышками, понемногу соединившимися в сыпь, там и сям испещренную гноящимися нарывчиками. Очевидно, обратные чары принесли ему смерть, а ей какую-то неопытную и противную болезнь.

Единственная свеча освещала эту неприглядную картину, восковые фигурки растаяли и превратились в два куска бесформенного воска.

Но вот видение стало бледнеть все больше и больше и наконец совсем пропало.

Снова забегали в зеркале светлые и темные пятна и потянулся светящийся туман.

Через минуту исчез и туман и перед Моравским снова зияло устье темного коридора, прикрытое куском шлифованного стекла.

Профессор помедлил немного у аппарата, тщетно ожидая появления изображения, и, видя, что больше ничего не будет, отошел к столу.

Он закурил папиросу и стал прохаживаться по кабинету в ожидании Фадлана. Но Фадлана что-то, должно быть, задержало, и его несколько минут уже растянулись на целый час. Пока Моравский наблюдал явление, время летело незаметно. Но теперь оно тянулось томительно долго и профессор положительно не знал, чем себя занять: ждать скучно, а уехать не хотелось, нужно было еще попытать Фадлана насчет всего, что произошло.

От нечего делать Моравский стал рассматривать кабинет. Его внимание привлек высокий стол в углу, покрытый роскошной бархатной скатертью, вышитой золотом и шелками. Скатерть эта ниспадала до самого пола, тяжелые кисти, украшавшие ее, лежали на ковре. Но можно было рассмотреть, что на столе что-то лежало под скатертью, какой-то четырехугольный предмет.

«Что это может быть? — подумал Моравский. — Я не совершу нескромность, если посмотрю: если был бы секрет, Фадлан не оставил бы этого не под замком».

Он сдернул скатерть. Под ней оказался толстый и старинный фолиант в деревянном переплете. Но на пожелтевших листах его ничего не было написано: их испещряли рисунки, какие-то треугольники, круги и странные знаки; под каждым знаком было начертано слово, где по-гречески, где испорченной латынью, где на совершенно незнакомом профессору языке.

Моравский углубился в рассматривание книги. Случайно он коснулся рукой рисунка, изображавшего треугольник, вписанный в круг с четырьмя сферами, и вполголоса прочел под ним слово:

«Агла».

Но не успел он произнести это слово, как в зеркале что-то щелкнуло и зашипело. Моравский, думая, что появилось новое явление, бросился было к нему, но сейчас же отскочил обратно: теперь шлифованное стекло куда-то исчезло, а из образовавшегося отверстия клубами валил черный и густой дым и в нос профессору ударил едкий и острый хлорный запах.

Но этот дым не поднимался кверху и не стлался по по-

лу. Он держался в воздухе около зеркала, собравшись в ровный шар, и шар этот уплотнялся все больше и больше и наконец достиг совершенного подобия твердого тела. Постепенно он стал светиться, точно внутри его горел огонь. Тогда шар, играя переливами света, как опал, отошел от зеркала и поплыл по направлению к изумленному Моравскому.

Шар остановился в двух шагах от профессора и повис в воздухе, как бы ожидая какого-нибудь действия с его стороны.

Но Моравский и не думал предпринимать что-нибудь, совершенно не зная, как и чем объяснить себе подобное явление.



Шар медленно поплыл по воздуху и приблизился к профессору на расстояние шага.

Моравский, предчувствуя недоброе, бросился вон от стола. Но шар двинулся вслед за ним. По дороге он слегка коснулся кресла, на котором за мгновение пред тем сидел профессор, и кресло с треском разлетелось на куски. И куда бы не скрывался Моравский, всюду шел за ним, как злобный фатум, страшный пламенеющий шар. Чем быстрее двигался Моравский, тем быстрее двигался и шар, в точности

повторяя все его движения; когда Моравский, встретив какое-нибудь препятствие, замедлял свой бег, замедлял движение и шар. Неуклонно и настойчиво он следовал за испуганным профессором, с треском и шумом сокрушая мебель, за которую пытался прятаться Моравский, и расстояние между ними, несмотря на почти нечеловеческие усилия его, оставалось все то же. Ровно один аршин, не более, не менее, отделял Моравского от преследующего его ужаса, и он чувствовал и знал, что за этим ужасом скрывается смерть.

Сколько времени продолжалось это преследование? Чем должна была кончиться эта страшная борьба?

Развязка, по-видимому, уже приближалась: Моравский выбился из сил. На лбу его выступили крупные капли пота, руки дрожали, колени подгибались. Он забился в угол, за тот самый стол, на котором лежала книга, в отчаянии протянул перед собой руки и зажмурил глаза, ожидая неминуемого конца.

Но конец не наступил. Шар прекратил свое преследование, — он остановился, точно встретил какое-то невидимое препятствие: теперь его отделяло от Моравского довольно большое расстояние, — шага в три-четыре. Он крутился вокруг своей оси, то поднимался, то опускался до земли. Иногда он отходил назад и снова с силой направлялся вперед, но, натолкнувшись на незримое препятствие, переменил направление и медленно плыл по окружности то направо, то налево.

Моравский почувствовал, что он в безопасности и, быстро успокоившись, стал наблюдать явление. Он заметил, что в том месте, где стоял он за столом, на ковре нашта узкая белая полоска, большой круг, идущий до самой стены. Эта полоса вместе со столбом воздуха над нею и составляла препятствие для шара. И каждый раз, когда шар, опустившись, касался ее, слышался легкий треск, полоса вспыхивала слабым светом, а из шара вылетала искра и он, оттолкнувшись, быстро поднимался вверх. Профессор понял, что, по счастливой случайности, попал в изолирующий круг.

Явление продолжалось.

Светящийся шар остановился в воздухе и стал вертеться с поразительной быстротой вокруг своей оси. Потом он сплюснулся и растянулся по экватору, отделив вокруг себя ряд блестящих колец. Кольца лопались, рассыпая вихрь блестящих искр и образуя ряд малых шаров, светящихся, как и первый. Вместе с тем, в комнате появился второй большой шар, и третий, и так без конца, с которыми повторялось то же самое, и через несколько минут в пространстве за кругом, в котором стоял Моравский, все было наполнено сияющими шарами, большими и малыми, быстро двигавшимися по разным направлениям. Иногда они сталкивались, рассыпаясь каскадом ярких искр, и искры не гасли, а также носились по воздуху, заполняя собой промежуток между шарами. И каждая искра, и каждый шар, пересекая воздух, звучали по-своему, и различные тона сливались в аккорд, подобный какому Моравский не слышал еще ни разу за всю свою жизнь.

Наконец все смешалось и за кругом стояла светящаяся колеблющаяся завеса и в завесе этой что-то гудело и звенело и пело, но шум и звон были смутны и гармоничны. В дрожащей полосе словно мелькали бледные лица, тянулись длинные руки... И вдруг все пропало. Точно порыв ветра прогнал огненное облако и сдунул страшное видение.

Моравский заметил, что он не один. За письменным столом сидела пожилая дама с добрым и симпатичным лицом. Она была одета в темное платье и длинную кружевную накидку, совершенно скрывавшую ее фигуру. Дама что-то писала, волнуясь, беспрестанно зачеркивая написанное и взглядывая на бедно одетого человека, стоявшего перед ней в почтительной и подобострастной позе, спиной к Моравскому. Каждый раз, когда дама принималась за писание, человек этот сжимал кулаки и с ненавистью глядел на нее. Но стоило ей положить перо, как он сейчас же снова принимал скромный и почтительный вид.

Но вот дама успокоилась и углубилась в писание. Быстрее мысли человек приблизился к ней, схватил цепкими руками за шею и стал ее душить. Дама захрипела; сияясь

вырваться из сжимавших ее рук, она обернулась к Моравскому, и тот прочел в ее налившихся кровью глазах красноречивую мольбу и призыв на помощь.

Броситься вон из круга и помешать преступлению было бы делом одной секунды... но профессор не успел сделать этого: двери отворились и появился Фадлан, успевший сделать ему предостерегающий знак. Моравский остался на месте.

Фадлан быстро вошел, вернее, ворвался, как ураган, в кабинет. Остановившись посередине комнаты, он поднял правую руку вверх, а левую опустил вниз. Губы его шептали какие-то слова на неведомом Моравскому языке. Потом шепот перешел в голос и он уже совсем громко закончил заклинание все тем же словом:

— Агла!

И вдруг и дама и душивший ее человек как-то растаяли, пропали, испарились в воздухе.

Фадлан опустил руку, подошел к аппарату и, закрыв его, приладил крышку к телефону.

— Теперь смело выходите из круга, дорогой профессор, — сказал он своим обычным спокойным тоном. — Никакой опасности нет, пожалуйста сюда, ко мне. И наделали же вы беспорядка в моем кабинете, ай-ай! Я же просил вас закрыть крышку аппарата! — прибавил он с легким укором.

Смущенный Моравский не знал, как оправдаться.

— Я совершенно забыл, друг мой! За мной еще грех; я смотрел вашу книгу.

— Знаю, я все уже знаю. Слава Богу, что я вошел вовремя, а то было бы очень трудно. Вы очень неосторожно вызвали одного из элементарей, неразумного, но очень деятельного и сильного. А силами астрала, не связанными открытым аппаратом, воспользовалась лярва, жаждавшая завладеть вашим мозгом и телом...

— Элементаль? Лярва?.. Ничего не понимаю!

— Расскажу вам об этом после, когда вы совсем успокоитесь. А пока пойдем в столовую, вам недурно выпить стакан старого портвейна. Ну что же, дорогой профессор, вы теперь видите, что некоторые пережитки имеют значение

и в наши дни?

VIII

Фадлан жил очень уединенно, избегая показываться в обществе и целые дни проводя у себя дома. Никто не мог бы сказать, чем он занимается; трое слуг, служивших у него, приехали издалека и почти совершенно не владели русским языком, ограничиваясь выражением только самых необходимых понятий. Но таинственность, которая окружала его, возбудила толки и разговоры и в конце концов в одной распространенной газетке появилась заметка о Фадлане, даже с указанием его полного адреса.

Он стал получать неисчислимое количество писем, и множество людей, преимущественно женщин, пытались добиться свидания с ним. Но письма он оставлял без ответа, а посетителей и посетительниц не принимал, зная по опыту, что их гонит к нему не необходимость и не нужда в помощи, а просто праздное любопытство.

Фадлан видался только с Моравским, продолжая посвящать его в теорию оккультных наук. И почти каждый вечер профессор бывал у Фадлана, просиживая у него зачастую до поздней ночи. Моравский с нетерпением ждал практических занятий, но Фадлан все еще к ним не приступал, а профессор, помня уговор, не торопил его и не спрашивал: когда же?

Шел уже первый час ночи. Фадлан только что окончил изложение сложного понятия о законе тернера и всех его проявлениях и применениях и большими шагами мерил вдоль и поперек свой кабинет. Моравский, по обыкновению, намеревался забросать вопросами своего учителя.

Но в комнату вошел слуга и подал на подносе сложенный листик бумаги, вырванный, по-видимому, из записной книжки.

— Что такое? — изумился Фадлан. — Если Нургали подает мне это, — значит, что-нибудь существенное. От кого

бы это? И так поздно! Прочтем.

Он прочел записку, повертел ее в руках и передал Моравскому.

— Прочтите, дорогой профессор.

Моравский надел *pince-nez*.

— Почерк женский... Какой нервный! Должно быть, — очень торопилась, — сказал он.

— Читайте, — повторил Фадлан, — время не терпит. Это очень спешное.

Моравский прочел вполголоса:

«Глубокоуважаемый господин Фадлан, простите, что я вас беспокою так поздно. Мы совсем незнакомы. Но у меня большое горе, и я верю, что вы поможете. Я прочла о вас в газетах, кроме того у нас в гимназии все о вас говорят. Никто не знает, что я здесь, я очень, очень прошу вас меня принять. Ради Бога, не сердитесь и примите меня, добрый господин Фадлан.

Н. Гордеева».

— Ну, и что же? Каков будет результат этого детского лепета? — спросил Моравский, возвращая письмо Фадлану. — Какое горе может быть у этой смелой гимназистки не из последних классов? Не из последних, судя по письму...

— Вы тоже не из последних эгоистов, профессор, — нахмурился Фадлан. — Результат будет тот, что я ее приму. У нее горе, может быть детское, и пустое, но она верит, этого довольно!

Он кивнул головой слуге, и когда тот удалился, добавил:

— Мне кажется, что тут что-то серьезное. Болезнь... может быть, даже смерть.

Со стороны приемной послышались неуверенные легкие шаги. Фадлан пошел навстречу. Через минуту в комнату вошла и смущенно остановилась на пороге совсем молодая девушка, почти девочка. Ей могло быть едва пятнадцать лет. Свежее лицо ее было расстроено, глаза припухли от

слез, меховая шапочка кое-как второпях пришпилена к волосам. Темный бант в косе распустился, но она не замечала этого, было не до того.

Фадлан просто подошел к ней, как будто бы они были старые знакомые и друзья, потом протянул ей руку и усадил в кресло.

— Я Фадлан,—сказал он ободряющим голосом. — А вот это мой друг, второй я, его не нужно стесняться. Вы прекрасно сделали, что обратились ко мне; конечно, я сделаю все, что могу. Но вы прежде успокойтесь и совсем, совсем не волнуйтесь, мадемуазель...



Он вопросительно взглянул на свою гостью.

— Наташа, — подсказала она, ни минуты не задумываясь.

— Наташа, — повторил Фадлан. — Так вы, Наташа, прежде всего успокойтесь: я вижу, что вы волнуетесь. Спокойнее, спокойнее, вот так! Вы говорите, что никто не знает, что вы у меня. Как это так?

Фадлан все время пристально смотрел в ее глаза.

— Когда сделалось совсем нехорошо, я... Сама не знаю, как и почему... Я вышла из дома, села на извозчика и поехала к вам.

— Хорошо. Только вы так никогда больше не делайте, это не годится. Смотрите, пожалуйста, мне в глаза. Я знаю, что у вас... я читаю. Ваш папа очень болен. Не бойтесь, от слов ничего не сделается: вам кажется, что он умирает.

Губы бедной девочки задрожали и уголки рта опустились вниз. Фадлан нахмурился.

— Спокойней, спокойней! Соберите все усилия вашей воли на мысли о том, что он не умрет. Верьте, он будет жив! Верьте, сильнее верьте, ведь Бог всемогущ!

— Доктор был вечером, — дрожащим голосом сказала она. — Он выразился, что надежды нет... я сейчас и приехала...

— Для него нет, может быть, надежды, а для нас есть. Дайте-ка мне вашу руку, и продолжайте смотреть в мои глаза.

Точно нервный ток шел от Фадлана: Наташа успокоилась, лицо ее повеселело, и она уже спокойно стала отвечать Фадлану.

— Как и когда заболел ваш папа?

— На прошлой неделе. Он вернулся из заседания совсем бледный и говорил, что там с ним сделалось дурно. Потом к вечеру лег отдохнуть, а потом сделался бред и 40°. Позвали доктора, и вот с тех пор... Воспаление легких... А теперь он без сознания, никого не узнает. А вот сегодня вечером...

— Я понимаю. Мы сейчас поедem к вам, все вместе... Кажется, по вашим законам при моем способе лечения должен присутствовать врач? Ну вот, профессор, вы как раз врач, — добавил он в сторону Моравского. — Вы поедете?

Профессор молча поклонился.

Фадлан позвонил и отдал распоряжение слуге, сказав фразу на особом гортанном наречии.

— И вот еще что, Наташа: никогда и никому не говорите, что мы были у вашего папы, иначе я не поеду. Обещаете?

— Обещаю.

— Вы что-то хотите спросить и не решаетесь. В чем дело?

— Я не знаю, как это выразить... Вы такой добрый, и вдруг я вас обижу, если спрошу. Вы не обидитесь? Нет?

— Наташа, я никогда ни на кого не обижаюсь. Мне будет очень неприятно, если вы не будете откровенны со мной.

— Ну вот... я... я — православная и верю в Бога... Это не грех? То, что вы хотите делась с папой?.. Вы не обидитесь?

Фадлан улыбнулся.

— Что же тут обидного? Ваш вопрос показывает, что вы действительно верите в Бога, и что у вас чистая душа. Слушайте, Наташа: вы достаточно взрослая для того, чтобы понять, что я вам скажу. Я оккультист, это значит, что я изучаю сокровенные, тайные науки, открытые не всем. Но я так же верю в Бога и пришедшего на землю Христа, как и вы. Все, что в оккультизме истинное и верное, взято у Него, взято из того, что Он принес на землю, и мы веруем и поклоняемся Ему, как и вы. Не обладал ли Он, как Бог и как человек, ключом к оккультному знанию, которое, начинаясь на земле, восходит к Божеству? Не говорил ли Он о вечной жизни, не победил ли Он смерть, не изгонял ли злых духов, не исцелял ли болезни? Верьте мне, Наташа, что истинный оккультизм — это истинное христианство, такое, каким было оно когда-то в катакомбах и тайниках. Недавно еще я погрешил против него, и буду наказан, и это будет правосудно и справедливо. Может быть, теперь, через вашего отца, мне посылается великое утешение послужить на благо ближнему, которого я не знаю, и успокоить ваше чистое сердце. Не Христос ли заповедал беречь малых? А вы ведь еще малое дитя, и вот теперь, верю, я уберегу, с Божьей помощью, вашу душу от тяжелого испытания... Ну, что же, как вы думаете: слугитель я доброй силы или злой?

— Я теперь спокойна, — прошептала Наташа.

— И благо вам, — заключил Фадлан. — Едемте, карета готова, вот идет Нургали.

Они оделись и не без труда поместились в маленькой каретке Фадлана.

— Что это у вас? — спросил Моравский, видя, что Фад-

лан захватил с собой какой-то сверток в бархатном футляре.

— Это одежда, — знак разобщения с земным миром, — ответил он. — Там она будет нужна.

Карета быстро неслась, по указанию Наташи, на Литейный, где жили Гордеевы. Колеса визжали по замерзшему снегу, в заиндеветых окнах быстро сменялись расплывчатый свет и тени. Наташа молчала; бодрое выражение ее лица исчезало и сменялась грустным и тоскливым по мере приближения к дому. Моравский тоже молчал, погруженный в мысли, которые никак не мог собрать в одно целое. Фадлан, казалось, дремал в своем углу: по крайней мере, глаза его были закрыты и плотно сжатые губы не промолвили ни одного слова за все время путешествия.

Карета остановилась. Пришлось довольно долго звонить у подъезда, пока заспанный швейцар открыл двери. Потом поднялись в третий этаж и Наташа твердой рукой нажала пуговку звонка.

Фадлан нарушил свое молчание.

— Вы, Наташа, скажете, что приехал профессор по вашему приглашению: фамилию не говорите, да ее и не спросят. Вы, профессор, удалите всех из комнаты, всех без исключения, а вы, Наташа, в ней останетесь и будете мне помогать.

— Я? — изумилась Наташа. — Что я умею?

— Вы сумеете.

Щелкнул замок, загремела цепочка, из-за двери выглянула горничная.

— Барышня! Елизавета Петровна очень беспокоилась, где вы...

— Что папа?

— Все так же... Барыня у себя, только что пришли от барина, все время были у них. Про вас спрашивали. Теперь там Елизавета Петровна,

Наташа, сбрасывая на ходу шубку, прошла в гостиную и скрылась в больших комнатах. Ждать пришлось недолго: мадам Гордеева вышла в гостиную скорее, чем можно было ожидать. Она решила, что профессор, о котором ей ска-

зала дочь, это Моравский, и прямо подошла к нему.

— Простите, пожалуйста, профессор: моя бедная девочка совсем сошли с ума... Ночью, так неожиданно и никого не спросясь, побеспокоила вас. Я, право, не знаю, могу ли я... Я не знаю, как вас благодарить... наши средства не позволяют нам...

Моравский вскипел.

— Оставьте это, сударыня! Ваша дочь поступила во всех отношениях прекрасно. Попрошу вас остаться здесь. Барышня проведет нас к больному. Никого, кроме нее, не должно быть.

— Но как же она вам объяснит все? *Mon Dieu**, я совершенно не понимаю...

— И не надо! Угодно вам, сударыня, исполнить мою просьбу?

— Ах, пожалуйста, пожалуйста! Наташа, проводи господина профессора к папе.

Они двинулись по коридору в кабине Гордеева, превращенный теперь в комнату больного. Оттуда вынесли всю мягкую мебель, поставили кровать и ширмы, — доктор нашел, что так будет лучше.

Наташа тихонько открыла дверь, вошла и снова закрыла ее за собой. На минуту в коридор ворвалось несвязное однотонное бормотание: больной бредил.

— Пожалуйте, — шепотом сказала Наташа, приоткрыв дверь. — Теперь никого нет, папа один.

Гордеев лежал на постели, разметавшись, и без передышки произносил бессвязные слова. Свеча под зеленым абажуром, стоявшая на столике, освещала налившееся красное лицо и включенную седую бороду. Глаза были полузакрыты и сквозь узкие щелки из-под век страшно выглядывали закатившиеся белки.

Он не чувствовал никакой боли, никакой тяжести, пожалуй, даже он уже не чувствовал и самого себя. Он с любопытством наблюдал, как какие-то незнакомые люди, множество людей, торопливо исполняли вокруг него сложную

* Бог мой (*фр.*).

и замысловатую работу. Они протягивали поперек комнаты что-то вроде паутинок, то горизонтально, то вертикально, то под углом, прилаживали их так и этак, связывали узелками и от узелков тянули новые нити. Иногда ниточки рвались и все разрушалось, но они с новым усердием принимались за дело. Гордеев помогал им, говорил, где удобнее подвязать; они ему отвечали и даже, между делом, разговаривали с ним и он, узнавая разные новости, изумлялся. Поэтому его бессвязный для других бред для него был строго логичным и точным мышлением и словесное выражение этого мышления было вполне соответственно.

Интерес работы был тем важнее, что Гордеев прекрасно понимал, что паутину эту строили для того, чтобы смерть не могла до него дотронуться. Она стояла за дверями и терпеливо ожидала окончания, чтобы потом попробовать разорвать паутину. Это была своего рода игра взрослого с младенцами.

Взрослому ничего не стоило разрушить постройку детей, но он делал вид, что ему ужасно трудно сделать это.

Гордеев знал и строителей. Это были его умершие родственники, друзья и знакомые,— все те, кого он хоронил, провожал и за кого молился. Больше всех хлопотал какой-то Иван. Гордеев долго не мог вспомнить, кто это. Но после оказалось, что этот Иван был курьером в том суде, где служил Гордеев, и Гордеев, случайно встретив его похоронны, не только помолился за него, но потом помог его осиротевшей семье. Вот теперь этот Иван и хлопотал больше всех, все время перекидываясь словечками с Гордеевым и ободряя его.

— Ты лежи себе спокойно, милый, — говорил он, — мы тебе подсобим, мы ее не пустим! Вишь ты, как ловко паутинку-то сплели, а? Небось выдержит, родненькая!

И говорил так ласково, что Гордееву делалось совсем хорошо и страху не оставалось ни капельки...

Фадлан прежде всего замкнул дверь из кабинета в приемную, или в гостиную, это было неизвестно. Потом настежь открыл дверь в коридор.

— А почему нет в комнате образа? — укоризненно сказал

он Наташе. — Непременно повесьте тут образ и лампадку перед ним зажгите. Сами зажигайте ее, Наташа; ведь это нетрудно.

Потом он обратился к Моравскому.

— А вы, профессор, станьте в коридоре. Вот там, у дверей, и наблюдайте, чтобы никто не ходил по нему.

Когда это было исполнено, он вынул из футляра длинную белую одежду, нечто вроде хитона из блестящей материи, толстую восковую свечу и кусочек мела. Он начертил мелом небольшой круг у самой открытой двери. Потом зажег свечу и дал ее Наташе, а сам надел на себя одежду, произнося непонятные слова. Такие же слова он произнес и над кругом, поставив в него Наташу с зажженной свечой в руках.

— Теперь молитесь про себя, Наташа, какими хотите словами, и верьте, что Бог пошлет по этой молитве исцеление вашему отцу.

Он скрестил на груди руки, склонил голову и тихо произнес священное слово:

— Оум!

Потом Фадлан медленно приблизился к изголовью больного и долго смотрел на него, шепча тихую молитву. Гордеев продолжал бредить. Теперь он беспокойно метался по постели и руки его силились снять тяжесть с груди. Иван, завязывая последний узелок, сел к нему на грудь и, по-видимому, не замечал, что смерть уже стоит на пороге. Она вовсе не была такой, какой всегда представлял ее себе Гордеев. Это была высокая, страшно высокая серая фигура с длинными белыми руками, опущенными вниз, и с лицом, закрытым капюшоном. И Гордеев знал, что самое страшное заключается именно в этом закрытом лице, и что весь смысл настоящей минуты заключается в том, когда откроется это ужасное лицо.

Фадлан тихо и любовно положил свои руки на голову больного.

Гордеев замолк.

В комнате стало тихо-тихо. Только трещала свеча в дрожащих руках Наташи и слышалось ее тяжелое дыхание.

Бедная девочка крепилась изо всех сил, исполняя завет Фадлана, но еле сдерживала подступавшие к горлу рыдания.

Фадлан опустился на колени.

И голос его покрыл тишину. И голос этот, полный веры и вдохновения, вдохнул веру и надежду в ослабевшую душу Наташи.

Окончив молитву, Фадлан встал, подошел к дверям и стал впереди Наташи, лицом к коридору, пристально вглядываясь в темноту.

Долго простоял он так, точно выжидая кого-то, и, должно быть, дождался: он медленно склонился до земли и руки его коснулись пола. Затем выпрямился, взял у Наташи свечу, и, погасив ее, сказал:

— Идите к вашему отцу и посмотрите на него: он спит крепким и спокойным сном. На этот раз Господу было угодно отозвать смерть назад.

Действительно, больной спал. Лицо его было бледно и на лбу выступали крупные капли пота, но дыхание стало ровным и спокойным, и Наташа при первом взгляде на него инстинктивно почувствовала, что он спасен.

Фадлан поманил девушку к себе.

— Непременно, Наташа, повесьте здесь образ и зажгите лампадку. И еще... вы помните наш уговор? Чтобы никто никогда не знал, что я был у вас.

Наташа внезапно наклонилась, взяла руку Фадлана и поцеловала ее.

— Зачем это? Не нужно. Пойдите и скажите, что мы уезжаем, сами ложитесь спать и пришлите сюда сиделку или кого-нибудь другого; вы совсем измучились.

Фадлан сложил одежду, спрятал ее вместе со свечой и мелом в футляр, дочиста вытер маленькой губкой круг на полу и вышел в коридор.

— Ну что? Как? Благополучно? — спросил Моравский.

— Слава Богу, больной спасен. Будете ли вы теперь скептически относиться к детским записочкам, профессор? Надеюсь, нет. Пойдемте в гостиную, раскланяемся и уедем. К вам, должно быть, будут приставать, так вы скажите, что произошел перелом и опасений никаких нет.

В гостиной их ожидала Гордеева.

— Могу поздравить, — сказал Моравский. — Произошел совершенно неожиданный поворот к лучшему. Оставьте больного спать, не беспокойте его. Когда будет доктор?

— В одиннадцать утра, если мы не пошлем за ним раньше.

— Ну вот и оставьте его спать до доктора. И пусть продолжает лечение, он знает, что нужно делать, а я совершенно не нужен.

— Может быть, профессор, вам нужно прописать что-нибудь? Вот здесь бумага, перо...

— Ничего не нужно. Имею честь кланяться.

Моравский ощутил в своей руке присутствие бумажки. Он поднес ее к своим близоруким глазам, внимательно рассмотрел и хладнокровно положил крупную бумажку на стол.

— Совершенно лишнее. Я — ни при чем.

И, молча поклонившись, вышел из комнаты, а за ним и Фадлан.

— Какой странный доктор, — поморщилась m-me Гордеева. — Невоспитанный, грубый и денег не взял. Может быть, я мало предложила? Так ведь сам же говорит, что он ни при чем. И этот его ассистент такой противный! Нелюдим какой-то. Откуда их выкопала моя Талька? Кто они такие? Пойду спросить...

Но ей не пришлось спрашивать, потому что Наташа повалилась на постель и так и лежала, одетая, заливаясь радостными слезами, грозившими перейти в истерику. Гордеевой пришлось-таки повозиться с дочерью в эту памятную ночь.

А Фадлан возвращался с Моравским домой и словно дремал, забывшись в угол кареты. Лицо его было печально, брови нахмурены и весь он был как будто чем-то недоволен.

Карета остановилась у подъезда дома, где жил профессор.

Фадлан встрепенулся и пожал руку Моравскому.

— Вы расстроены, друг мой? Вы устали? — спросил Моравский.

— Я не расстроен и не устал, — ответил Фадлан. — Я гру-

щу. Я чувствую, что час возмездия приближается... Ах, дорогой профессор, это, кажется, мое последнее доброе дело!

Дверца гулко хлопнула и карета покатилась дальше, везя одинокого Фадлана на Каменноостровский, в его таинственный особняк.

IX

После описанных событий прошло около двух месяцев.

Последние злые морозы прошли и в воздухе уже чувствовалась живительная ласка приближающейся весны. Снега не было ни капли: отчасти он растаял, отчасти его счистили с улиц и вывезли за город. Все сильнее грело солнце, все чаще приходили пасмурные дни, чаще капало с крыш и падали с грохотом прозрачные сосульки. Но Нева еще не прошла и порой леденящее дыхание замораживало веселые ручьи вешних вод. Впрочем, здесь, в людском муравейнике, среди каменных громад, мало кто интересовался бедной весной и о ее близости можно было догадаться разве только по Гостиному двору. Там в широких зеркальных окнах показались новые туалеты и весенние шляпки, и мальчишки стали продавать маленькие букетики фиалок и ландышей. Бедные цветы! Они были жалки, без свежести и аромата, точь-в-точь как бледные дети петербургских больниц.

Лика Железнова стала объявленной невестой. Это случилось очень просто, совсем не так, как рисовалось столь важное событие в ее девичьих мечтах. А случилось это вот как.

Вскоре после похорон бедной Таты Репиной, Лика была на вечере у Рыжиковых; там ей был представлен некто Шадуровский, сразу заполонивший все ее мысли, душу и сердце. Он был молод, надменен, напыщен, даже, пожалуй, несколько груб и свысока относился к окружающим. Смешливая по натуре Лика попробовала было поднять его на смех. Но он ответил ей жестокой шуткой, растворенной

в миллионе любезных слов, — и своевольная девушка, почувствовав хлыст, присмирела и покорилась. Потом, улучив минуту, Шадуровский подсел к ней, и вышло так, что Лика, безумно любившая танцы, — весь вечер не танцевала, потому что не танцевал Шадуровский... Но он был так любезен, кроток, мил и остроумен, этот противный Шадуровский!

На другой день Шадуровский сделал визит Железновым, через неделю зашел вечером, а через две стал у них бывать запросто. Они стали проводить вдвоем с Ликой уже целые вечера; никто им не мешал, дома все молчаливо признали законность такого необычайного явления. Казалось, мебель и та вступила в соглашение, как-то особенно удобно расположившись в укромных уголках — и этот молчаливый заговор быстро двигал роман Лики к концу.

Как-то случилось так, что старшие Железновы ушли в оперу. Лика осталась дома под предлогом головной боли. Она знала, что придет Шадуровский.

Он пришел минута в минуту, как всегда, долго возился в передней со своей шляпой и наконец появился в гостиной, где ожидала его волнующаяся Лика.

— Наши уехали, Петр Николаевич... Мама просила непременно задержать вас, она хотела вас о чем-то спросить.

Шадуровский сделал кислое лицо. Ему не совсем понравилась обстановка сегодняшнего свидания.

Она немного смутилась.

— Вы недовольны?... Почему?

Но Шадуровский постарался прогнать свое испорченное настроение духа и ответил ей несколькими незначительными любезными словами. Лика была обворожительна в открытой шелковой блузочке, ее обнаженные руки манили и дразнили его, и в конце концов он пришел в равновесие.

Потом его засадили за рояль и он очень удачно фантазировал, взяв тему из Грига.

А потом перешли в будуар. Там горел розовый фонарь и мягкая мебель лукаво ждала их, и аромат тонких духов пьянил и туманил мозг. Через мгновение Лика почувство-

вала, что какая-то громадная сила овладевает ею, что что-то тяжелое и сладкое неотразимо надвигается на нее. Она хотела встать и не могла. А Шадуровский смотрел на Лиду и боролся сам с собой. Близость молодой прекрасной девушки, ласковость ее гибкого тела, ее покорность, аромат духов и этот прелестный tête-à-tête, который никто не мог нарушить, — все это действовало на нервы, и страсть понемногу захватывала его в свои цепкие лапы.

Он подошел к Лиде, наклонился и молча поцеловал ее в полураскрытые губы. Она не отвечала. Он поцеловал еще. Поцелуи его, долгие и страстные, туманили ее голову, — она ответила. Он стал целовать ее шею, плечи, грудь... она покорно отдавалась его бурным и грубым ласкам. И ни одного слова не было произнесено между ними. Только тяжелые вздохи перебивали частое дыхание Лиды.

— Не нужно... Не нужно, — шептали ее дрожащие губы.

Но Шадуровский с силой поднял ее и молча посадил себе на колени. И, обожженная молнией страсти, она почти потеряла сознание.

Когда Лиды очнулась, она лежала на кушетке, а Шадуровский был около нее с низко опущенной головой. Она села, оправила на себе платье, заплакала; Шадуровский тихо взял ее руку и поднес к своим губам.

— Ты не волнуйся... не плачь, — сказал Шадуровский. — Зачем ты плачешь? Дождемся стариков... мы счастливы! Ну, полно же, не плачь, родная! Или ты мне не веришь?

Он еще раз поцеловал ее руку.

Потом вернулись старики, потом пили шампанское, и никто ни о чем не догадался. А наутро Лиды стала невестой.

В доме началась веселая суета. Целыми днями совещались о том, где что купить, где заказать, что и как сделать; старая Железнова вместе с Лидой носилась по магазинам и по портнихам, а сам Железнов беспрестанно вынимал и вкладывал бумаги, менял акции и погрузился в финансовую сторону дела: свадьба была назначена на Красную Горку, времени сравнительно оставалось уже немного.

Когда Лиды, оживленная и раскрасневшаяся, возвращалась домой, набегавшись по всему городу и обойдя множе-

ство магазинов, ее обыкновенно ожидал уже Шадуровский, приходивший к ним ежедневно после службы: он занимал довольно большое место в одном из министерств. Шли бесконечные разговоры, строили планы будущей совместной жизни, мечтали и порой жестоко спорили. Иногда бывали, но редко, сладкие минуты наедине. Приходилось бывать вдвоем у бесконечной родни жениха и невесты. Но и Лика и Петр Николаевич были счастливы, делали множество глупостей, нервничали и всецело находились в любовном угаре.

И вдруг все переменялось.

Как-то раз Шадуровский пришел позже обыкновенного. Войдя в гостиную, он не нашел там всегда ожидавшей его Лики: она изучила его манеру и угадывала его звонок.

В гостиной, как и во всей квартире, пахло валерьяном, эфиром и еще какими-то каплями. А на диванчике сидел старик Железнов, совершенно удрученный, постаревший и совершенно потерявший свой обычный вид сановного придворного лица.

Петр Николаевич испугался.

— У нас несчастье... Ах, какое несчастье! — пробормотал Железнов. — Соберите все ваше мужество... Это ужасно!

Он слегка всхлипнул.

— Что случилось, Степан Иванович?.. Лика...

— Еще есть надежда. Час тому назад у нас был профессор Моравский. Он находит сильный нервный припадок. Дал кое-какие средства, но, как сам говорить, стал в тупик. Он предсказывает выздоровление, но после долгих забот и ухода; в лучшем случае, болезнь продолжится около шести месяцев. Он обещался вернуться через час с другим доктором.

— Да что такое случилось? Говорите же!

— Лика... Лика... Нет, это так тяжело, это так страшно! Лика... сошла с ума.

— Что вы говорите? Может ли это быть? Когда? Как это случилось?

— Ах, это все ваши эти модные проклятые сеансы! Давеча Лика мне рассказывала про сеанс у Варенгаузен. Да,

кажется, и вы там были и видели заезжего медиума и... принимали участие в этих... глупостях!

Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание.

— Ну вот, сегодня за обедом, когда выяснилось, что вас нет, ей пришла дикая фантазия спросить через блюдечко о причине вашего запоздания. Лика была очень оживлена, смеялась... Мы не придали этому особого значения. Ну вот... что было, не знаю. Но жена прибежала в ужасе ко мне, говорит, что Лике дурно, что она в обмороке, каком-то странном обмороке, вытянулась, одеревенела. Ну... Я сейчас телефонировал... потому что ее не могли привести в чувство, к профессору Моравскому. Счастье еще, что он был дома! Мне удалось установить, что Лика, сидя за блюдечком, вдруг как сноп упала на землю. Но самое страшное наступило потом. После получасового обморока, Лика заговорила каким-то не своим голосом. Такие странные вещи говорила она! Говорит без передышки, говорит и сейчас. Моравский нашел острое помешательство на религиозной почве. С чего бы это?

— Отчего за мной сейчас же не послали? — укоризненно покачал головой Шадуровский. — Я ведь не чужой. Знаете ли, присутствие любимого человека...

— Ах, батенька мой, не до того! Да она все равно вас не узнала бы, она ничего и никого не видит. Ах, какой ужас!

Он приложил платок к глазам и тяжело вздохнул.

— И потом, ее видимые мучения страшно действуют на мать; она все время с ней, плачет и сама близка к помешательству. Пойдите сами туда... Ах, бедная моя девочка!

В комнате Лики еще пахло вальерьяном и лекарствами. Плотный абажур у качалки скрадывал яркий свет электрической лампочки: резкий освещенный круг лежал на столе, где среди разбросанных в беспорядке мелочей дамского туалета, раздушенных записочек и валявшихся гребенок стояли пузырьки с разноцветными рецептами; остальная комната находилась погруженной в полумрак. В углу у иконы чуть теплилась лампадка и мерцающий луч ее слабо освещал широкую кропач, на которой под шелковым одеялом лежала Лика. Волосы девушки были распущены, лицо мерт-

венно бледно, но выражение его не носило печати страданий или спокойствия: оно все светилось радостным восторгом, и счастливая улыбка играла на бледных губах. Но тело Лики было недвижимо, руки и ноги вытянуты. И если бы не странное выражение лица и быстрая речь, можно было бы принять девушку за труп.

Речь ее лилась плавно и свободно, казалось, будто слова были давно заучены и давно известны.



Петр Николаевич бросился было к Лике, но мать замахала на него руками. Он понял и остановился у дверей.

— ...Зачем приносить меня в жертву твоему знанию? — размеренно говорила Лика. — Душистый фимиам, золотой пламень горит в ногах моего ложа, дым его синеватой струей

подымается к небу... О, я вижу! Я вижу!

Голос ее стал протяжным и перешел почти в пение.

— Ладья, дивная ладья великой Изиды! Она плывет среди безбрежного неба, прекрасная и светлая, легкая и воздушная. Богиня управляет рулем; вот, вижу, пурпурный парус наклонился над нею и полощется среди облаков... Кто это, великий и светлый, стоит впереди? Не ты ли это, мой гений, мой возлюбленный? Ты делаешь мне знак, ты зовешь меня... Я иду!

Она, как бы прислушиваясь, понизила голос почти до шепота, словно повторяя чужие слова.

— О, моя возлюбленная, моя единственная, моя прекрасная Лемурия! Приди ко мне, в мою ладью, дорогая, под сень моих золотых парусов! Мы поплывем с тобою по очарованному морю, среди кипящих волн, к далекому берегу чудной страны. Там к небу вздымаются высокие пальмы, там рдеют плоды в зелени ветвей и гнездятся среди листвы

голубые веселые птицы, и все поет торжествующую песню, гимн нашей победной любви... О, приди, моя избранная, моя далекая, нас зачаруют сияющие огни... Приди в мою ладью, приди скорей!

Она подняла голову с подушки и снова заговорила громко и нараспев.

— Не я ли дочь богов и сестра гениев? С сияющих лучей моей звезды я вижу их длинную вереницу, потоком спускающуюся и поднимающуюся среди вечных миров, от зенита и до надира гармония и свет! Знание и любовь царят в моем сердце, и, как сверкающая звезда, горит во мне божественное воспоминание... О, нет, никто не может сорвать с меня моей бессмертной короны! Мрачные призраки, туманная даль, века без числа — вы жаждете поглотить меня? Но вы ничто предо мною! Вы проходите, я остаюсь, вы падаете, я неподвижна... Я — вечное желание, я — вечная память, я — бессмертная душа!

Дверь тихо скрипнула и в комнату тихо вошел Моравский, ведя за собой новое лицо. Вновь вошедший был человек средних лет с темным цветом лица и черными глазами с металлическим блеском, — одним словом, это был доктор Фадлан.

Лица замолкла. Потом вдруг вскрикнула во весь голос:

— Я не хочу, я не хочу!.. Идет буря, я боюсь грозы!

Она замолкла, вытянулась и впала в полную летаргию.

Фадлан подошел к самой кровати, пристально посмотрел на нее и затем, повернувшись к старой Железновой, сказал:

— Дайте мне что-нибудь, какую-нибудь камфорку с разожженными углями.

И, пока исполняли его приказание, он сказал Моравскому:

— Это не новое вселение. Вы помните, профессор, нашу общую работу? Я не удивлюсь, если мы здесь встретим нечто знакомое.

Шадуровский выступил вперед.

— Что вы хотите делать с моей невестой, господин доктор? — спросил он надменным тоном.

Даже и при условиях настоящей минуты он не мог от-
решиться от всегдашней своей привычки говорить свысо-
ка с незнакомыми ему людьми.

— Вас это интересует? — слегка усмехнулся Фадлан.

— Это моя невеста, и я, кажется, имею право? Могу ли
я с ней поговорить?

— Попробуйте, — сказал Фадлан.

Шадуровский приблизился к спящей. Но не успел он при-
коснуться к ее руке, как Лика страшно вскрикнула.

— О... О, мне больно! Он меня убивает!

— Вы видите? — сказал Фадлан совершенно расстроен-
ному Шадуровскому. — Оставьте ее, не волнуйтесь и с до-
верием отдайте ее в мои руки.

Он взял поданную ему камфорку с углями, поставил ее
в ногах кровати и, вынув из бокового кармана небольшой
пакетик, высыпал содержимое на уголь. Клубы пахучего и
душистого смолистого дыма наполнили всю комнату. Тог-
да Фадлан громким голосом сказал, высоко подняв руки
над головой:

— Великий дух, ты, господствующий над душой приро-
ды, ты, великий ее творец, я призываю тебя на помощь и
защиту!

Облака дыма собрались над спящей и стали крутиться
около нее; образовался как бы дымный вихрь, в котором
то светлели, то потухали какие-то огни, точно порой блис-
тали легкие молнии.

— Кто ты такой? Кто здесь? — резко спросил Фадлан.

Блестящая искорка появилась на мгновение в дымном
столбу и погасла.

Фадлан молчал.

Облако душистого дыма стало еще плотней и совершен-
но опустилось над Ликой. В комнате сделалось совершен-
но темно.

Вдруг где-то наверху прозвучал аккорд, точно порыв вет-
ра, коснулся арфы. И в ту же минуту Лика, как пружина,
выпрямилась на постели и села, далеко отшвырнув подуш-
ки. Светящаяся тень в высокой тиаре, в широких жречес-
ких одеждах склонилась над нею. Лицо видения нестерпи-

мо блистало, слепило очи и нельзя было разобрать его черт.



Оно тихо приблизило свои губы к губам Лики и запечатлело долгий поцелуй, во время которого обе фигуры светились одним и тем же вибрирующим светом... Потом все побледнело, фигура исчезла и с ней рассеялись и облака душистого дыма. Комната приняла свой обычный вид.

Фадлан низко поклонился по направлению к спящей, как бы провожая исчезнувшее видение. Шадуровский дрожал с головы до ног, пораженный и уничтоженный тем, что видел. Старики Железновы глядели на Фадлана с трепетной надеждой, полные радостного предчувствия. А профессор нахмурился и спрашивал самого себя: в какие неведомые тайны заведет его возобновленное знакомство с бывшим учеником?

И вдруг Лика тяжело вздохнула и проговорила совсем новым, тихим и спокойным голосом:

— Я свободна, я прощена! Спрашивай меня о чем хочешь, великий и сильный! Спрашивай, пока есть время. Ибо еще раз увижусь с тобой, но мне не дано будет...

Она замолчала, прервав свою фразу на полуслове и как бы выжидал вопроса.

— Твое имя? — спросил Фадлан.

— Ты его знаешь, ты не ошибаешься.

— Лемурия?

— Да.

— Что можешь ты сказать про себя?

— Я была жрицей великой Изиды. Мне было дано знать многое и хранить великие тайны. Божественный Горус любил меня... Я вижу себя под старым дубом, приветливо раскинувшим надо мною широкие ветви. Слева и справа меж мшистых камней густой заросли жимолости и вереска рдеют алые мальвы, пестреет дикая петунья, журчит ручей и шепчет дубрава над его хрустальными струями. А свет солнечных лучей сияющим ореолом венчает мою голову, весь уйдя в золото пышных волос, и вся лазурь далекого неба — в лазури моих больших глаз. Там свершилась наша любовь и там вынули из моего тела мою бессмертную душу... Священный огонь потух, тому виной была я! О, наказание было справедливо, но как выразить всю его тягость? Многие века скиталась я по свету, прикованная к мрачной сфере земли, омрачая злобой свое тягостное существование. Усилием воли я вселилась в тело воскрешенной тобой девушки, едва не совершив нового тягчайшего преступления. Но вторая смерть искупила грех и, просветленная и сознательная, предвкушая чудное освобождение, я вновь вселилась в девушку не с тем, чтобы погубить ее, но с тем, чтобы призвать тебя! Мне дано было знать, что ты придешь, великий освободитель, а с тобой придет и он, божественный Горус... Теперь я свободна... О, как я счастлива, какое блаженство, какой свет меня ожидает!

— Почему же, Лемурия, ты была такой злобной, когда мы встретились с тобой в первый раз?

— Я не была еще просветлена, прощение коснулось меня только после второй смерти. Страдания искупили мою вину. А перед тем я была отдана страшному духу, которого ты знаешь, духу, что живет в прекрасной земной оболочке...

— Джординеско?

— Ты сказал. Тебе предстоит вступить с ней в борьбу; поспеши готовить оружие, борьба будет тяжела!

Фадлан нахмурился.

— Скажи мне, Лемурия, кто же из нас победит? — спросил он.

Но Лика молчала.

— Ты молчишь? Тебе не позволено открыть это? Пусть будет так...

— Поспеши, время близко! Поспеши, нужно спасти две души. Поспеши, нужно спасти семью. Поспеши, нужно спасти жизнь. Теперь отпусти меня, я должна идти. Не беспокойся, этому телу не причинено никакого вреда!

Фадлан подошел к девушке и, положив ей руку на голову, властно и спокойно сказал:

— Проснись!

Лика изумленно открыла свои большие глаза.

— Что со мной?.. Мама!

Железнова бросилась к дочери, безумно целуя ее, плача и смеясь и все еще не веря в ее полное выздоровление.

А Фадлан, круто повернувшись, сказал Петру Николаевичу, так и застывшему в позе полного недоумения:

— Вот вам ваша невеста. Не правда ли, вы могли отнестись ко мне с доверием?

Он незаметно ускользнул из комнаты, пользуясь тем, что всеобщее внимание поглощено вернувшейся к обыденной жизни Ликой.

Когда Фадлан спустился вниз и надевал в швейцарской свою шубу, его догнал Моравский.

— Ну знаете, дорогой доктор, я уже не смею назвать вас даже и коллегой! Какие мы коллеги? Вы учитель, а я ученик приготовительного класса. Вы прямо чудотворец!

— Чудес нет, дорогой профессор. Есть только знание.

Они вышли из подъезда и сели в карету Моравского.

— Может быть, мы поедem ко мне? — сказал профессор.

— У меня сегодня свободный вечер и я был бы рад видеть вас у себя, дорогой мой друг.

И, не дожидаясь ответа Фадлана, он опустил раму и, высунувшись в окно, крикнул кучеру:

— На Сергиевскую, домой!

Потом он уселся поудобнее и проговорил:

— Вот вы говорите знание, знание. Но мое знание, если только оно есть, совершенно ничтожно и, по-видимому, не представляет никакой ценности в сравнении с вашим.

— Зачем так говорить?

— Оставим это, это так!.. Вы мне показали еще так недавно страшную силу вашего знания. Теперь вы опять ставите в тупик всю мою науку. Да что уж говорить об этих поистине странных явлениях! Довольно и того, что сегодня, став лицом к лицу с удивительным и необъяснимым заболеванием, я прямо инстинктивно почувствовал необходимость вас позвать, а последующее подтвердило всю логическую цепь событий от сна Лики до откровения Лемурии. Могли бы вы, дорогой доктор, взять меня в свои ученики? Я уже несколько раз просил вас об этом.

— Позвольте и мне сказать вам, профессор, что прежде, чем взять вас, как вы говорите, в свои ученики, я должен предупредить вас о многом. В этом испорченном и извращенном мире мы стремимся восстановить благородное преемство знания древних времен, дело истинно посвященных, венец человеческой семьи, единственно благодаря которому истина открывалась на земле. Эти посвященные, очень часто остающиеся неизвестными для толпы, на самом деле мистические владыки человечества, могущественные, но всегда готовые принести себя в жертву. Мы хотим восстановить в государствах и нациях святое преемство души и ума, исстари составлявшее живое царство в невидимом, которого каждый народ является отражением. Мы почитаем все религии, все космические силы и божественные души, мы чтим их имена и создаем их символы. Но выше всего мы ставим единого и непостижимого Бога, из

которого исходят гении-создатели и вся природа, — вся вселенная! Каждое божество соответствует бесконечной силе, всякая душа имеет свою степень создания. Мы господствуем над душами после божеств и мы восстанавливаем и куем их живую цепь. Мы одинаково сражаемся с господством одного, как и с господством всех. Для того, чтобы впоследствии дать свободу нашим ученикам, мы требуем от них подчинения и послушания. Мы ищем учеников, чтобы сделать из них учителей. И вот, если вы хотите стать моим учеником, — вы должны, прежде всего, отказаться от всякой земной славы и известности. Вы должны совершенно предаться истине. Наконец, вы должны подчиниться учителю до дня последнего посвящения. Я требую от вас временного повиновения, чтобы дать вам полное освобождение. К свободе же можно придти только через победу над самим собой и через посвящение Всесвятому в вечном единстве. Ну что ж, готовы ли вы дать мне обещание? Готовы ли вы стать моим учеником?

Моравский поник головой.

— Вы требуете невозможного, — ответил он и сейчас же поправился. — Невозможного... по крайней мере, для меня.

Х

Аврора Джординеско лежала на низкой тахте, отдавшись во власть утренней истомы и совершенно не ощущая свежести восстановленных сил. Плохо проведенная ночь давала себя знать, а такие ночи все чаще и чаще посещали за последнее время изголовье красавицы-княгини. Античное тело валашки почти утопало в расшитых подушках, тщетно ища отдохновения. Желанного отдохновения не было, и все члены ее ныли и томились, в тысячный раз переменяя свое положение: княгиня, поздней ночью закончив свои занятия, так здесь и заночевала.

В обширном будуаре, убранном с оригинальной роскошью, царил полумрак: в большом окне была приспущена штора, почти не пропускавшая мутный свет петербургского позднего утра. Единственным признаком этого утра являлось то, что бархатные занавеси были широко отдернуты в обе стороны. У всех четырех сторон стояли низкие диваны с наваленными на них подушками всевозможных форм и сортов. Паркет покрывал толстый ковер во всю комнату, совершенно скрадывавший шаги. В камине весело трещали дрова и длинные полосы красноватого света перебегали из стороны в сторону, сменяя одна другую. Но главную достопримечательность комнаты составляла широкая и подвижная занавесь во всю длину у задней стенки. Перед занавесью стоял небольшой стол из черного мрамора странной и затейливой резьбы. Стол этот был несоразмерно высок и узок, напоминая своей формой католический алтарь. Сверху и с боков он был снабжен легкой обшивкой из палисандрового дерева, закрывавшей его донизу, — получалось нечто вроде деревянного футляра, открывавшегося со всех четырех сторон. При закрытых дверцах непосвященному глазу казалось, что это простая шифоньерка оригинальной и странной формы. Но стоило нажать кнопку, дверцы открывались, верхняя крышка откидывалась и появлялся черный мраморный алтарь.

Аврора была одета в странный костюм, простое с прямыми складками длинное платье из грубого шелка с длинными и широкими рукавами, позволявшими видеть обнаженные руки матовой белизны. Голову ее украшало подобие тиары, египетская повязка из той же материи, богато расшитая голубыми камнями.

Губы княгини шевелились, лицо слегка подергивалось.

— Неужели я влюблена? — шептала она. — Моя любовь — зерно, из которого вырастает цветок смерти... Что для меня те, кого я встречаю на своем пути? Виновата ли машина, давящая несчастных, неосторожно попадающих под ее колеса? Тем хуже для него: он подчинится мне, как другие, умрет, потому что смерть необходима для жизни. Но я? Влюблена? Какой вздор!

Она встала с тахты.

— В конце концов, это моя дорога, и я не властна в своей судьбе. Что делать: так нужно и так будет!

В ней, казалось, происходила какая-то борьба. Затем решение было принято и белая рука нервно нажала маленькую пуговку звонка. В дверях показалась пожилая женщина, почти старуха, отвратительного и отталкивающего вида.

— Ты меня звала, княгиня?

— Да. Опустит занавески, запри двери, разожги жаровню и приготовь куренья... все, что нужно.

Старуха опустила занавеси, вышла и через минуту возвратилась, с трудом неся большую металлическую жаровню, наполненную углями. Она поставила жаровню на ковер перед занавесью, крепко замкнула двери и дернула за шнурок. Занавесь отдернулась, обнаружив за собой большое гладкое зеркало из черного шлифованного стекла.

Аврора безучастно и лениво следила за всеми этими приготовлениями, однако, не упуская ни одной подробности.

— Где обрывок белой ленты, который я привезла от Репиних... вечером, помнишь?

— На столике, около алтаря, — ответила старуха.

— Хорошо. А стебель розы в крови?

— Лежит на алтаре.

— Хорошо. Начнем. Подай убор... Скорей. Поторопись, я чувствую силу.

— Опять? Так скоро? Ведь сегодняшней ночью...

— Молчи, старая! Не твое дело.

Старуха поднесла Авроре большой футляр, из которого княгиня вынула браслеты, ожерелье и золотое кольцо, усыпанные голубыми камнями. Она надела на себя эти драгоценности, бормоча:

— Бирюза и бериллы... Это то, что нужно для привлечения мужчины к женщине.

Затем она прибавила, возвысив голос:

— Курение! Скорей! Что ты копаешься? Скорей.

Старуха подала Авроре черную агатовую чашу, наполненную сероватым порошком. Аврора взяла щепотку и бросила в жаровню. Одурачивающий дым поднялся перед черным

зеркалом, где красноватыми бликами отражались огни жаровни и камина.

Старуха, коленопреклоненная, с низко опущенной головой, бормотала нечто вроде псалмов в ответ на возгласы Авроры. Аврора, сбросив с себя платье и оставшись совершенно нагой, блистая белизной своего тела и драгоценными камнями головного убора, браслетов и кольца, стояла перед мраморным алтарем, беспрестанно бросая в жаровню новые щепотки куренья. Ее движения были торжественны и, священнодействуя перед черным зеркалом, она громким голосом говорила заклинания под аккомпанемент псалмов старухи.

— Шеваиот! Шеваиот! Шеваиот! — возглашала Аврора.

— Породи зло! Породи зло! Породи зло! — пела старуха.

— Именем Шелома, великим именем Семхамфораса, Шеваиот!

— Вдохни в нас твою силу. Породи зло! Породи зло!

— Велиал, князь слез, приди ко мне.

— Будь опорой моей слабости. Породи зло! Породи зло!

— Сахабиил, князь горя, помоги мне.

— Одень нас твоею силой. Породи зло! Породи зло!

— Адрамелех, царь тьмы, умножь меня.

— Будь нашей силой. Породи зло! Породи зло!

— Самхабиил, источник ужаса, покрой меня кровом твоих крыльев.

— Снизойди к нам. Породи зло! Породи зло!

— Во имя падучей звезды, во имя Шеваиота...

— Господь! Господь! Господь!

— Приди ко мне, Лилита, приведи Ноемаху левой рукой.

— Сотвори слезы несчастья, разожги ненависть!

— Во имя слугителей зла, во имя темной нездешней силы, проснись, Молох, и уничтожь создания чистоты.

— Мы принесем тебе в жертву кровь чистых детей!

— Шеваиот! Шеваиот! Шеваиот!



Заклинания зла прекратились. Едкий и пряный аромат отравлял воздух. Дым становился все гуще и гуще и, освещенный красными отблесками жаровни, отражался в черном зеркале колеблющимися фантастическими фигурами.

Аврора преклонила колени, взяв в руки тяжелую пергаментную книгу в кожаном переплете с вытисненными замысловатыми знаками. Она с лихорадочной поспешностью перелистала несколько страниц, на которых были начертаны то обратные пентаграммы, то разные сочетания цифр, то длинные колонны имен, перемешанных с заклинаниями и призываниями духов, то отдельные буквы во всю величину листа. Наконец она нашла то, что искала и, наклонившись до земли, начала читать речитативом, то возвышая, то понижая голос и ритмически покачиваясь всем туловищем в такт изменениям своего голоса:

— И тех, кого избрал ты, превеликий и таинственный Шеваиот, тем ниспошли ты свою могущественную силу! И дай им крепость, и мощь, и знание, утверди сердце их к деланию зла во славу твою. Пошли им крылья полуночного ветра и быстроту твоих молний, чтобы скоры были руки их к крови, и к смерти, и к уничтожению благих. Да сопутствует им преступление, и порок и ложь да сгладят пути их и выровняют горы! Да облекутся они в гнев и ярость и сокрушат в веселии сердца всех слуг добра, ничтожных пред тобою! И в море крови, горя и слез явится нам дивное и священное лицо твое, Шеваиот, в пламенном огне, курении дыма и воплях истязуемых услышат верные твой сладостный голос и вечным светом загорится в мрачной короне твоей лучезарный дивно-сияющий Шин.

— О, Шеваиот, единый, вечный, живой источник зла, перед ужасом имени которого трепещут нечестивые служители блага! Порази врагов своих безумием и болезнями и ужасом сердечным, смертельной тоской, унынием духа и тяжкими бедами. И да грядет пред тобою славный апостол Иуда, гордый Искарriot, пред чьим святым именем благоговейно преклоняются твои верные служители.

— О, Шеваиот, единый вечный, живой источник зла! Ра-

ди пресвятого Иуды, принесшего жизнь свою на твой священный алтарь, его крепким предстательством, помилуй, услышь и помоги твоей смиренной рабе! И да будет с нею твоя победительная и крепкая десница и да почует на ней твой всеокрушающий великий дух!

Она еще раз преклонила до земли. Потом встала с колен, выпрямилась и замерла в трепетном восторге.

— Ленту... Ленту! — вдруг вскрикнула Аврора.

Она схватила лоскуток с черного алтаря и с дикой радостью бросила его в пылавшую жаровню. Яркое пламя поднялось оттуда и на мгновение осветило зеркало. Аврора вне себя проговорила иступленным голосом:

— Тебе, Молох, это чистое счастье! Тебе, Молох, этот знак священного опьянения и радости сладостных мечтаний! Пожри, о Молох, твою жертву!

Старуха удалилась из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь.

— Я чувствую существо, входящее в меня... Я чувствую!.. Я чувствую! О, какая сладость... какой восторг!

Полными руками стала бросать Аврора куренья на раскаленные уголья. Потом заломила свои руки, конвульсивная дрожь потрясла все ее тело.

— Не мучь твою рабу, о, великий!.. Но благоволи принять ароматы, которые так покорно она пред тобой сжигает!

Прекрасное тело поверглось навзничь на землю, судорога свела классические члены. Нечто вроде опьянения овладело Авророй и она увидела сквозь дым и свет, как в зеркале постепенно появилось и просветлело изображение.

Комната...

За столом сидит молодая Варенгаузен, печально глядя на своего мужа. Он ходит большими шагами взад и вперед, как будто чем-то озабоченный, как будто чем-то взволнованный.

— Да! Вот он, — пробормотала Аврора, пьянея от страсти. — Это он! Это счастье, уничтожь его... отдай этого человека твоей рабе, Шеваиот!

...Варенгаузен остановился и взял свою шляпу. Надя подымается, удерживает его.

— Молох,— воззвала Аврора. — Молох! Это полнота добра: но позволяй жить этому опьянению!

...Варенгаузен спорит с женой, минуту колеблется и, вырвавшись из ее рук, уходит прочь. Надя в слезах и отчаянии опускает голову на стол...

Аврора испустила радостный крик и бросилась к зеркалу, но видение исчезло. Она возобновила свои заклинания, бросая пригоршнями куренья.

— Тебе, Шеваиот!... Породи зло! Породи зло!

Но зеркало было мертво.

Аврора покорила. Она затушила пылавшие угли и, набросив на себя капот, позвонила.

— Прибери все это, — сказала она вошедшей старухе, сбрасывая с себя золотые браслеты и берилловый убор. — Я пойду переоденусь.

Она вышла из комнаты.

Старуха с тщанием начала прибирать все принадлежности ритуала. Она унесла жаровню, задернула занавесь у черного зеркала, прибрала и спрятала браслеты, кольцо и убор, потом открыла форточку и подбросила дров в камин. Через какой-нибудь час в комнате не осталось даже и отдаленного запаха курения и будуар принял свой обычный вид.

Аврора вошла, одетая просто и не без кокетства в темный суконный костюм.

— Сейчас придут. Ты, ни о чем не спрашивая, оставишь нас вдвоем... Понимаешь? — сказала она старухе, заканчивавшей уборку комнаты.

Голос ее был звонок, движения изящны и женственны и голубые глаза спокойны и жестоки, как всегда.

— Понимаю, княгиня.

— Когда мы будем здесь, что бы ты ни слышала, берегись входить сюда... Ступай!

Аврора осталась одна.

Она задумалась.

— Вот опять новое разрушение, новое несчастье, новое зло вношу я в чужую жизнь. Но что же делать? Разве я сама себя создала? Чем виновата я, что все цветы вянут при моем прикосновении, и мне довольно встретить на моем

пути чистейшую и пламенную любовь, чтобы эта пламенная любовь превратилась в ничто и погибла в моем вечном движении? Ах, да какое мне до всего этого дело! Я хочу жизни этого человека. Я хочу, потому что она мне необходима. Я хочу ее, потому что он влечет к себе все мое существо. Мне эта жизнь нужна, как солнце растению, как воздух птице! Ее жаждет мое тело и моя душа... Он связан с другой? Меня это несколько не интересует. Тем хуже для нее, ее никто не просил становиться на моей дороге. Я, прежде всего, я — создание Шеваиота, духа зла. Зло — моя сущность, и пусть будет оно моей путеводной звездой!

Дверь тихо скрипнула. Аврора с живостью обернулась и разочарованно отступила назад: на пороге появился... Фадлан.

— Княгиня?.. Простите мое неожиданное появление. Вы, должно быть, ждете кого-нибудь другого?

— Да, я ожидаю, — ответила Аврора. — Но я очень рада вас видеть.

— Мой визит будет непродолжителен, я постараюсь вас не задерживать, — продолжал Фадлан. — Я к вам по делу.

— Вы не особенно любезны, доктор. Бедная я женщина! Ко мне приходят только по делу. Вы — враг женщин, доктор? Или вы, может быть, меня почему-нибудь не переносите? Это бывает. Но что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста, — я вас слушаю.

Она опустила в мягкое кресло, Фадлан сел против нее на маленький диванчик.

— Я приступаю прямо к делу. Мы встретились с вами, княгиня, совершенно неожиданно на вечере у Репиных, не будучи раньше знакомы, не правда ли?

— Совершенно верно, я помню эту встречу.

— Однако же это было predetermined, и мы узнали друг друга сразу.

— Я вас не понимаю, доктор, — холодно сказала Аврора. — Объясните. Скажите яснее.

— Мои объяснения будут очень просты, княгиня. Мы идем одинаковыми путями. Но если я предназначен для того, чтобы подниматься, хотя и с громадным трудом, к Ве-

ликому, вы, наоборот, носите знак черной пентаграммы, которая низводит вас в пропасть.

— Что вы хотите этим сказать? Я продолжаю вас не понимать. О чем это вы? — спросила Аврора с прекрасно разыгранным изумлением.

— Зачем нам играть в прятки, княгиня? Я мог ошибаться. Но ваше непременное желание сохранить тот стебель розы с каплей моей крови, вы помните? Оно открыло мне глаза. Иначе чем объяснить ваше странное желание? Вы видите, я говорю совершенно откровенно.

Аврора несколько раз пробовала пристально смотреть на своего собеседника, прекрасно зная силу своего взгляда. Но огонь, горевший в черных глазах Фадлана, каждый раз принуждал ее отворачивать голову. Она поняла, что имеет дело с сильнейшей волей, и решила, что притворство ни к чему не поведет и что лучше говорить всю правду.

— Хорошо, — сказала она. — Я тоже буду откровенна. Да, мы действительно не знали друг друга. Правда и то, что мы сразу распознали каждый своего врага. И вот, беспокоясь о будущем, и призвала к себе помощь.

— Но кто же вам угрожает?

— Сейчас — никто. Очень скоро — может быть, вы.

— Я? Никогда, если на меня не нападут. Никогда, пока вы не поставите на карту мою жизнь. Это будет для вас... не трогать меня будет для вас совсем легко, потому что, уверяю вас, я приехал сюда учиться, но никак не действовать. Итак, успокойтесь: я очень скромн, с утра до вечера занят и мы можем встретиться с вами только разве случайно, где-нибудь у общих наших знакомых, на вечерах или каком-нибудь бале.

Наступило молчание, Аврора обдумывала свой ответ.

Наконец она сказала:

— Эти невинные встречи достаточны, однако же, чтобы привести нас к неминуемой борьбе, и я все-таки нахожу необходимым себя обезопасить.

— Заметьте, княгиня: если бы я хотел действовать против вас как враг, как будто это было бы моим законным правом...

— Да, я знаю! Вы служите божественной магии, я — волшебству, каждый делает, что может. Но, так как все-таки мы враги, вы согласитесь, доктор, что если вы имеете право меня уничтожить, я имею право принять против вас предупредительные меры.

— Для чего, княгиня? Если бы я хотел выступить против вас, если бы я хотел вас уничтожить, неужели, вы думаете, я не мог бы этого сделать, не выходя из своего кабинета? Но я не хотел действовать так и вовсе не хочу ссориться с вами.

— Итак? — не без любопытства спросила Аврора.

— Итак, я пришел просить вас отдать мне тот стебель розы, который судьба дала вам в руки.

Аврора встала.

— Доктор, — сказала она холодно, — я вам скажу совершенно откровенно. Вы еще не выступали против меня. Но кто поручится мне за то, что завтра вы не нападете на меня? И вот тогда, когда я буду от вас защищаться, вы признаете, что я поступила благоразумно, сохранив немного вашей крови в качестве защиты от вас.

Фадлан улыбнулся.

— Это шутка, княгиня! Что вы будете делать с моей кровью?

Но Аврора, блеснув глазами, подняла с угрожающим жестом свои прекрасные руки и проговорила:

— Ибн Фадлан, ты принимаешь меня за новичка в черных знаниях? Или хочешь ты усыпить мою бдительность? Клянусь великой безымянной силой, клянусь могучей нездешней силой, которой действуем мы оба, но только в разных направлениях... клянусь, что если несчастье — обоюдное несчастье — хочет, чтобы я тебя встретила поперек своей дороги, твоя кровь свяжет наши жизни и зло, которое ты наслал на меня, возвратится сторицей тебе! Понял ли ты?

— Несчастливая женщина, — ответил Фадлан с глубокой грустью в голосе, — вы очень ошибаетесь! Я повторяю вам еще раз: я приехал сюда, чтобы учиться, а не действовать.

— В таком случае, я не буду заклинать твою кровь. Верь моему обещанию, как я верю твоей искренности!

— Хорошо, княгиня. Но берегитесь предпринимать что-либо против меня или против тех, кого я люблю, потому что в этом случае...

Аврора вспыхнула и прервала угрожающую речь Фадлана.

— Потому что в этом случае я должна буду пойти против твоей силы? Пускай! Но тогда заговор твоей крови мне поможет, и, если твои заклинания могущественны и твой знак силен, то знай, что ты будешь их первой жертвой.

— Без угроз, княгиня! Маг не должен отступать перед опасностью на дороге, по которой посылает его Благо... До свидания, княгиня.

— До свидания, Ибн Фадлан, искренне желаю нам обоим, чтобы наши дороги разошлись!

Они в последний раз обменялись взглядами: глаза княгини горели угрожающим пламенем, глаза Фадлана выражали холодную решимость — и доктор вышел из будуара Джординеско.

Аврора вернулась на свой диван, бормоча:

— Ну вот, я тебя предупредила, Фадлан! Ты служитель добра — и, конечно, гораздо сильнее меня; но теперь наши шансы уравнились; у меня твоя кровь. Я ею воспользуюсь, и ты теперь знаешь, что заплатишь своей жизнью за мою... Впрочем, что меня беспокоит? Что может стать между нами? Ни он, ни я никого не знаем в этом огромном городе... Тот человек? Но Фадлан не станет его защищать, он даже не подозревает о его существовании!

Она задумалась. Потом, вскочив с дивана, гневно говорила:

— Что это значит? Почему он не идет?

Она подошла к камину, около которого на круглом столике стоял изящный серебряный кофейник. Маленькая спиртовая лампочка грела кофе и синий огонек ее отражался в тонком фарфоре китайских чашек.

Аврора сняла крышку; из кофейника поднялся теплый и душистый пар.

Она протянула левую руку и начертала указательным пальцем в теплом паре пятиконечную звезду острием вниз

и тихо прошептала заклинание.

— Шеваиот, посвящая тебе это питье: претвори его в напиток зла. И да волеет он нечистую страсть в тело, забвение в душу, и верные твои да восхвалят твое могущество... Шеваиот!.. Шеваиот!.. Шеваиот!..

Дверь снова скрипнула и в будуар вошел барон Варенгаузен, распространяя вокруг себя запах тонких духов.

— Княгиня?

Джординеско протянула ему руку.

— Добро пожаловать, барон... Я вас ждала.

Варенгаузен изумился.

— Вы меня ожидали?

Аврора улыбнулась.

— Да... Предчувствие! Садитесь, барон, вот сюда, на кресло.

Он сел против нее, в то самое кресло, где так недавно сидел Фадлан.

— Вы меня ждали? Предчувствие? Как это странно!

— Странно?

— Да! Может быть, я покажусь вам смешным, но... какая-то сила влекла меня сюда, и я не мог ей не подчиниться.

Он замолчал. Она загадочно улыбалась, плотоядно оглядывая Варенгаузена с головы до ног.

— Ну что же, барон, — сказала Аврора, — вы не знаете, как называется эта сила? Неужели я должна сказать вам ее название?

— Я вас не понимаю, — смешался барон.

— Храбрее, барон, храбрее!

Она снова улыбнулась.

— Ее имя хорошо известно. Эта сила, которой, как вы говорите, вы бессознательно подчинились, эта сила влечет молодость к молодости, мечту к мечте...

— Княгиня! — еще более смешался Варенгаузен.

Он посмотрел было на нее, но сейчас же опустил глаза: ее острый взгляд проник до глубины его души. Но княгиня еще раз улыбнулась, но на этот раз нежно и меланхолично, и продолжала:

— Я должна показаться вам странной, и вы можете очень худо подумать обо мне. Может быть, я слишком свободна в своих выражениях, что не прощается у вас, в вашем холодном Петербурге. Но m-me Репина, у которой я имела... имела удовольствие... познакомиться с вами, служит мне гарантией, что я...

Барон низко поклонился и сказал:

— Княгиня, вы меня конфузите!

Аврора бросилась к кофейнику.

— Ай, ай, мой кофе, кажется, убежит! Вы видите, барон, я настолько ждала вас, что даже приготовила кофе, чтобы вас угостить. Вы не думайте, что это что-нибудь обыкновенное. Это моя гордость: никто у вас здесь, наверное, не знает рецепта его приготовления. Хотите кофе?

Барон поднялся, взял чашку из рук княгини и поднес ее к своим губам.

— Какой аромат!

— Да, — ответила вскользь Аврора.

И потом прибавила с особенным выражением:

— В нем есть особенности, о которых вы не подозреваете.

Она стала наблюдать.

С бароном происходили странные вещи. Он чувствовал, как что-то вроде пустоты постепенно овладевает его мозгом; внутреннее пламя жгло его душу. Он больше уже не был самим собой; посторонняя сила господствовала над ним, и бессознательно он впал в полное ее подчинение; его мысли быстро сменялись одна за другой и были бессвязны и вместе с тем сладки, словно им овладело опьянение, похожее на опьянение эфиром или гашишем. Он чувствовал и действовал, но как бы во сне, и иная личность рождалась и развивалась в нем, и для этой личности все его прошедшее уже не существовало.

Он сказал, вероятно, под влиянием этого нового возрождения:

— Что за чудесный кофе! Или, может быть, это потому, что все заграничное кажется нам прекрасным?

— Люди или вещи?

— Все!

— Даже женщины?

— В особенности женщины.

Княгиня обворожительно улыбнулась.

— Это объяснение, барон?

— Может быть, — сказал Варенгаузен в полузабытье. —

Да, княгиня, вы правы, вы тысячу раз правы, сказав мне имя той силы, которая привела меня сюда помимо меня самого! Я пришел под влиянием воли гораздо высшей, чем моя.

Он остановился и провел рукой по лбу. Аврора смотрела на него с торжествующей улыбкой, не спуская с него своих красивых, но жестких и холодных голубых глаз.

— С тех пор, как я около вас в этом будуаре, с тех пор, как я вдыхаю воздух, которым вы дышите, с тех пор, как я выпил из ваших рук напиток желания и страсти... О, с тех пор я понял все — и я ваш, ваш телом и душой, я ваш всем моим существом!

Он опустился на колени около низкой тахты, на которой полулежала Аврора, и обнял ее колени.

— Я не знал любви, теперь я знаю ее... Каким волшебством открыли вы мне глаза? Какими чарами разбудили мое сердце? Может быть, вы — маг? Может быть, вы — колдунья?

Аврора расхохоталась.

— Бог мой, как он смешон! Послушайте, на свете нет магии, кроме магии женщины, которая хочет любви!

— И вдобавок, когда она прекрасна, как вы, — пробормотал барон и, окончательно опьяненный, упал к ее ногам.

А Аврора медленно наклонилась над ним, как жрица зла, пожирая пламенеющими глазами распростертое пред ней тело...

XI

Наступили белые ночи, роскошь и краса северных стран. С девяти часов вечера весь Петербург погружался в беле-

соватый сумрак, фантастической пеленой спускавшийся на огромный город. Здания казались больше, улицы уже, а памятники двоились и точно оживали в необычной обстановке призрачной ночи. Белое небо отражалось в белой воде каналов и белая ночь, распростершись над красавицей Невой, купала в ней свои бледные крылья.

Но кто не восторгался белыми ночами, запахом сирени и последней улыбкой умиравшей весны, так это Моравский. Старик ненавидел эти ночи и проклинал их от всей души, они не давали ему спать. Обыкновенно к этому времени он уже уезжал за границу. Но теперь Фадлан обещал ему еще один интересный опыт, не говоря, какой именно. Прошел уже целый месяц, а Фадлан все тянул и откладывал исполнение своего обещания со дня на день; профессор злился, но, снедаемый любопытством, в свою очередь принужден был откладывать заграничную поездку на неопределенное время.

Наконец давно желанный час наступил. Утром Моравский нашел у себя на столе записку, написанную неровным и крупным почерком Фадлана.

«Дорогой профессор, — писал доктор. — Если вам угодно принять участие в любопытном опыте и помочь мне, то прошу вас сегодня пожаловать ко мне к десяти часам вечера. Не знаю, будет ли удача? Но, во всяком случае, увидите много интересного».

В десять часов вечера Моравский был уже у Фадлана.

— Итак, доктор?..

— Итак, дорогой профессор, следует приступить ко второму опыту, при котором мы постараемся не рисковать более нашей жизнью. Помните, я вам говорил о пепле, оставшемся после сожжения трупа нашей бедной Таты?

Он указал на урну.

— Этот пепел здесь и он послужит основой для наших действий. Не пугайтесь: нам понадобится кровь.

— Уж не человеческая ли? — улыбнулся Моравский.

— Не улыбайтесь: ваши слова не шутка, как вы думаете. Человеческая была бы лучше; но на этот раз можно обойтись и без нее. Там, в соседней комнате, мой слуга держит

большого бродячего кота, кровью которого мы и воспользуемся. Кот, собака, волк, наконец, это не существенно, лишь бы было живое существо. Понимаете ли, для того, чтобы иметь максимум флюидической энергии, кровь должна быть пролита в ту минуту, когда владелец ее находится в высшем напряжении нервной и мускульной силы. Поэтому, как это ни печально, нужно довести животное до бешенства, чем и займется мой слуга. О и же и нанесет коту смертельный удар. Предупреждаю вас, что этот опыт я произвожу в первый раз, и у меня нет иного основания и иных знаний, кроме почерпнутых вот в этом манускрипте.

Он слегка хлопнул рукой по толстой крышке солидной книги, которую держал в руках и которую теперь положил на стол.

— Это... Как бы вам сказать? Это продолжение нашего первого опыта. Надеюсь, что он будет удачным и не принесет нам смертельной опасности, как в прошедший раз. Вот урна. Итак, приступим к действию!

Он поставил тяжелую урну на стол и открыл крышку.

— Позвоните, пожалуйста, профессор!

Моравский нажал пуговку звонка и сейчас же за дверью поднялось отчаянное мяуканье, вскоре перешедшее в пронзительный вой.

— Вот, началось, — пробормотал Фадлан. — Это самая неприятная часть нашего опыта.

Иступленный вой вдруг оборвался на страшно тонкой и визгливой ноте. Двери отворились; на пороге показался слуга в проволочной маске и толстых кожаных перчатках, держа в руках небольшую чашу с еще дымящейся кровью. Он поставил чашу на стол рядом с урной, молча поклонился доктору и вышел, плотно прикрыв за собой двери.

Фадлан сделал над урной несколько пассов. Потом протянул руки над чашей с кровью и начертал в воздухе сложный знак; затем, омочив пальцы в крови, окропил ею пепел. Он возобновил над вазой свои пассы, настойчиво продолжая их почти целый час. Ни одного слова не слетело с его плотно сжатых губ, брови были нахмурены, лицо сосредоточено и бледнее обыкновенного.

— Профессор, — наконец сказал он.

Моравский, со вниманием следивший за всеми его действиями, взглянул на Фадлана.

— Приложите ваше ухо к урне. Не услышите ли вы чего-нибудь? Какие-нибудь стуки или, может быть, потрескивания?

Моравский повиновался, прислушался и сказал:

— Слышны легкие постукивания. Такого же характера, как тогда в гробу, только слабее... Да, гораздо слабее.

Действительно, в вазе стучало. Стуки эти усиливались все больше и больше, делались чаще и оживленнее, казалось, будто в урне стучит молоточек румкорфовой катушки. И Моравский, и Фадлан ощущали на руках и лице словно легкую паутину.

Электричество было погашено и занавеси на окнах опущены. В полной темноте стуки казались еще сильнее. Теперь они перешли в сплошной треск.

Фадлан с упорством продолжал свои пассы.

Урна стала понемногу светиться. Казалось, она была окружена слабо светящимся туманом, легким светозарным облаком, которое яснело все больше и больше. Наконец стало светло настолько, что можно было различить все предметы в лаборатории. Откуда-то пахло ощутительным холодком.

— Прекрасно, — сказал Фадлан, прекращая пассы. — Пока что все идет по предвиденному плану. Но я страшно устал и мне нужно немного отдохнуть. Видите, что значит, что я сравнительно долго не занимался? Может быть, вы, дорогой профессор, продолжите несколько мгновений мои пассы?

Он, показав Моравскому необходимые движения рук, с наслаждением растянулся на диване.

В урне по-прежнему стучало и гремело, казалось, словно в ней горит громадный костер; треск то усиливался, то почти совершенно стихал, чтобы снова начаться с удвоенной силой. Иногда положительно можно было различить вой пламени в узкой трубе; порой было ясно слышно, как с гулом лопаются пузырьки раскаленных газов. Через пол-

часа Моравский, занятый пассажами, вдруг вскрикнул и отскочил от урны.

— В чем дело? — спросил Фадлан.

— Я почувствовал... Мне показалось, будто я явственно ощущаю прикосновение холодной руки! Конечно, это была галлюцинация, но поразительно реальная. Мне кажется, что я до сих пор чувствую этот ледяной холод!

— Это не совсем галлюцинация. Это одна из фаз происходящей эволюции.

По всей комнате распространился запах жженого мяса.

— А это что такое? Тоже фаза эволюции? — спросил Моравский.

— Несомненно, и вполне естественная, — ответил Фадлан. — Сейчас мы восстанавливаем в астральном клише всю бывшую картину сожжения трупа во всех ее мельчайших подробностях. Запах немного неприятный, правда, но он скоро пройдет.

— Если бы сжечь немного ладана?

— Вы предлагаете святотатство, — живо возразил Фадлан. — Запах курений, посвященных Божеству, не только прервал бы наш опыт, но мог бы привлечь на нас один из наиболее страшных обратных ударов вследствие столкновения таинственных священных сил с силами чисто космическими, приведенными в действие нами. Возобновите ваши пассы, дорогой коллега, и дайте мне еще немножко отдохнуть; будите меня только в случае какого-нибудь феномена в самой вазе.

В два часа ночи Фадлан, освеженный и подкрепившийся сном, снова занял свое место.

Теперь вся лаборатория была освещена, словно в ясный солнечный день.

Урна нестерпимо блистала и наполняла сияющими лучами своими всю лабораторию. Она сделалась прозрачной, и пепел, заключенный в ней, казалось, ожил: частички его крутились, поднимались и снова опускались, словно в каком-то вихре, усиливавшемся с минуты на минуту.

Феномен продолжался и развивался с поразительной быстротой. Менее, чем через час, урна оказалась сплошь

наполненной светящейся массой, которая совершенно поглотила пепел. В середине этой массы образовалось какое-то уплотнение и появился яркий шар величиной с небольшим мячик. Шар этот, быстро увеличиваясь в размерах, в несколько минут достиг величины головы ребенка. Затем он покрылся постепенно серыми пятнами и блестящими морщинами.

— Посмотрите, профессор: совершеннейшее возрождение и образование зародыша, — заметил Фадлан.

Через полчаса свет постепенно померк, но блестящий шар, испещренный черными точками и блестящими линиями, оказался уже висящим над урной. Затем человеческая фигура, еще не совсем ясная и сформированная, показалась в глубине этой тяготеющей в воздухе сферы.

Призрак рос с минуты на минуту. И в три с половиной часа утра Фадлан и Моравский имели перед собой светящуюся фигуру около семи футов высоты.

— Это астральное тело. Вы видите, профессор, оно восстановлено с мельчайшими подробностями, — сказал Фадлан. — Но мы еще не видим лица. Нужно выждать, чтобы оно уплотнилось.

В без четверти четыре утра предсказание Фадлана исполнилось. В сияющем круге перед учеными стояла точная копия прекрасной девушки с опущенными руками, склоненной головой и с закрытыми глазами. Роскошные золотистые волосы были наполовину покрыты покрывалом, свернутым наподобие египетского головного убора; покрывало ниспадало дальше, несколько раз обертываясь вокруг тела девушки, как бы образуя светящуюся одежду.

— Но ведь это человек!.. Девушка... Настоящая девушка! — вскричал изумленный Моравский.

— Только призрачное тело, — возразил Фадлан. — Только безжизненное смешение флюидов, которое постепенно материализуется, из видного станет осязаемым и воспримет, благодаря моим усилиям, все функции земной жизни.

Он взял палочку из полированного металла, направил один из концов ее к видению и сказал громким и вибрирующим голосом:



— Призрак исчезнувшей Лемурии, восстановленный в астрале усилием моего нравственного могущества! Ты — пустое изображение существа, которого больше нет, отражение моего желания и воли на эфирном плане! Я заклинаю тебя повиноваться мне, как будто бы ты была живым существом или настоящей воскресшей из мертвых. Я еще не приказываю тебе говорить, но только двигаться по моим указаниям. Иди и остановись около дивана... Иди, не торопясь и избегая металлического острия, которое может тебя рассеять!

Призрак медленно двинулся по направлению к дивану и сел на него, продолжая оставаться с закрытыми глазами и вытянутыми руками.

— Так, — сказал Фадлан. — Теперь открой глаза!

Послышался точно заглушенный вздох.

— В чем дело? — спросил доктор.

Призрак поднял руки и снова опустил их на колени.

— Это не то, — сказал Фадлан. — Я тебе сказал: открыть глаза! Я повелеваю тебе сделать это в силу моей оккультной власти и моего знания!

На этот раз призрак послушно открыл глаза.

Моравский задрожал, когда призрак устремил на него свой страшный и холодный взор, безжизненный, как у мертвеца.

— Хорошо, — продолжал Фадлан. — Ты — Лемурия, я тебя назову Лемурией, и ты мне будешь повиноваться. Ты понемногу сформировалась, ты исполнила предписанное движение, ты открыла глаза. Теперь, Лемурия, я ожидаю от тебя слова. Говори!

Губы привидения шевельнулись, но не последовало ни слова, ни даже малейшего звука.

Фадлан обернулся к Моравскому.

— Ничего нет удивительного, — сказал он, — нельзя ничего добиться с одного удара. Всего несколько часов тому назад в нашем распоряжении была только щепотка пепла. Потом появились стуки, потом сильный свет, затем шар и маленькое изображение, превратившееся в большой приз-

рак. Я приказал призраку двигаться, это было исполнено. Остальное придет.

— Мне кажется, что ее взгляд проясняется все более и более, — заметил Моравский.

— Да, — подтвердил Фадлан. — Придет умение и говорить. Призрак, я тебе повелеваю еще раз, во имя всех сил иного мира, я тебе повелеваю отвечать мне, как будто бы ты живое существо!

На этот раз призрак, открыв свой рот, слабо пробормотал:

— Как будто бы живое существо...

— Вы слышите? — вскричал Фадлан.

— Какой ужас! — проговорил Моравский,

— Почему ужас? Это только опыт, но этого недостаточно. Она повторила только последнюю часть моей фразы, точно обыденное физическое эхо. Не правда ли, Лемурия? Ответь мне еще раз!

Призрак повторил:

— Ответь мне еще раз...

— Проба сделана, — сказал Фадлан. — Пойдем дальше. Лемурия, прими сознание! Отвечай мне на вопросы. Говори... Говори, а не повторяй только мои фразы.

Призрак произнес ясным и отдельным голосом, но со странным ударением, как будто голос его шел откуда-то издалека:

— Я буду говорить.

— Мы идем гигантскими шагами, — заметил Моравский.

— Теперь, — продолжал Фадлан, — слушай меня, чудесный призрак. Пришло мгновение вдунуть подобие души в твое призрачное тело.

Я заклинаю тебя священным и неотразимым именем тех сил, которые я призывал до сих пор, я заклинаю тебя проникнуться волей твоего создателя! Получи с наступлением этого дня или, вернее, с закончившимся уплотнением твоих материальных форм, все психические качества умершей Лемурии, ее характер, ее волю, ее привычки, ее очарование, ее красоту, и помни: должно быть так, чтобы я не имел нуж-

ды поддерживать тебя каждую минуту моей волей. Будь, Лемурия, настоящей Лемурией, говори и действуй, чувствуй и ощущай, радуйся и страдай, как будто бы ты была истинной Лемурией, действующей и живущей среди нас!

— Я буду повиноваться, — произнес призрак.

— Почему ты говоришь в будущем?

— Я буду повиноваться, — повторил призрак.

— Лемурия, ты меня слышишь?

— Да.

— Мы очень устали, мы сейчас заснем около тебя. Я тебя заклинаю и повелеваю тебе, чтобы ты приобрела все человеческие особенности во время нашего отдыха, чтобы не терять драгоценного времени. Помни мое желание и постарайся выполнить его всеми силами твоего существа!

Фадлан расположился в кресле, Моравский против него, Лемурия осталась на диване.

Моравский долго не мог отвести взора от неподвижной Лемурии. Но вид безмятежно спавшего Фадлана в конце концов успокоил его и профессор в свою очередь заснул крепким сном, без грез и сновидений.

Но бедному профессору не удалось подкрепиться, как следует, благотельным сном. Не прошло и часа, как Моравский внезапно проснулся. Ему показалось, что Лемурия прикоснулась к нему.

— Коллега!.. Коллега! — пробормотал Моравский.

Фадлан открыл глаза.

Лемурия стояла около своего дивана.

— Вы должны быть оба довольны, я вас разбудила, — произнесла она ясным, звонким, вполне человеческим голосом.

Фадлан встал.

— Лемурия, — сказал он. — Ты будешь жить в этой лаборатории. Ты не будешь покидать этого места без моего приказания.

— Вы замечаете, коллега, что Лемурия почти совсем перестала светиться? — заметил Моравский.

— Тем лучше, — ответил Фадлан. — Значит, материализация почти совсем закончилась. А теперь пойдем дальше.

Он взял стул, поставил перед собой и сказал призраку:

— Садись сюда, против меня.

Призрак повиновался.

— Расположена ли ты повиноваться мне во всем?

— Я готов.

— Почему ты говоришь как мужчина, когда ты женщина?

— Я ни мужчина, ни женщина, я — безличие, созданное вашими опытами.

— Имеешь ли ты ту силу... обладаешь ли ты той страшной силой, которой обладала воскресшая Лемурия?

— Попробуйте.

Фадлан взял железную полосу в три сантиметра толщины и передал ее привидению.

Призрак без усилия и одним движением разорвал полосу пополам.

— Ты чересчур похожа на твой оригинал, — сказал Фадлан. — Я тебе категорически воспреещаю иметь такую силу, совершенно для тебя ненужную. Слышишь?

— Вы сказали, господин.

— Приблизься к своей модели до последней возможности во всех остальных ее качествах, кроме этого.

— Я приближусь... но...

— Что, но?

— Отказываясь от этой силы, желания мстить вам и ненависти, я создаю между мною и тем, чье изображение составляю, такую большую разницу...

— Нужно примирить эти противоположности.

— Я постараюсь.

— Я тебе это приказываю, я тебе это внушаю! Брось все, чего я не желаю в тебе видеть, и вместе с тем восстанови с математической верностью исчезнувшее существо, которое ты представляешь.

— К этому есть средство.

— Скажи мне его!

— Я не могу его вам сказать, так, как говоря про него, я вместе с тем должна буду вас послушаться, что не могу сделать физически.

— Скажи яснее, я не понимаю.

— Я нашла в вашем бессознательном высшем, в котором я читаю совершенно легко, решение этой задачи. Ваше высшее бессознательное владеет вашей сознательной волей. Я должна слушаться первого, уничтожая тем самым вторую, и избегая тех приказаний, которые выходят из ваших уст.

— Ты не можешь выразиться яснее?

— Нет, не могу.

— Что делать! Скажи мне: составляет ли эта мантия, в которую ты завернута, необходимую часть тебя самой, или это только одежда?

Призрак содрогнулся.

— Это не одежда, но вместе с тем это и не я. Это нечто вроде моей сферы. Все, что коснется ее, коснется и меня.

— Так что мы не можем прикоснуться к тебе, даже не можем подать тебе руки?.

— Со временем можно, но сейчас это опасно. Вы будете поражены ледящим холодом, который почувствуете слишком сильно, и можете даже погибнуть от него.

— Нуждаешься ли ты в какой-либо пище?

— Я добываю себе пищу из астральной ауры.

— Испытываешь ли ты какие-либо ощущения?

— Я только изображаю, будто чувствую, но только изображаю, — это только так кажется. Если я получу удар или рану, и рана и удар отразятся на вас вследствие обратного удара.

— Ого! Значит, я громоотвод? — спросил Фадлан. — Ну, а профессор, он тоже получит обратный удар?

— О, нет. Только вы.

Фадлан подумал немного и вдруг резко сказал:

— Спи!

Лемурия упала, как подкошенная, протянувшись во всю длину на диване.

— Зачем вы ее усыпили, дорогой друг? — спросил Моравский. — Ваша беседа начала принимать такой интересный характер!

— Мне хочется произвести еще одно маленькое испытание, — возразил Фадлан. — Вы посмотрите, профессор: не правда ли, теперь это уже не призрак, а почти совершенный человек?

Действительно, теперь на диване лежало совершеннейшее подобие человеческого существа, завернутого в белые одежды, женщина с роскошными золотистыми волосами, свесившимися до пола, и со страшно бледным прекрасным лицом.

— Не правда ли, — продолжал Фадлан, — это совершеннейший человек? Так вот, во-первых, мне хочется испытать, происходят ли в этом теле функции нормального дыхания? Не хотите ли исследовать, профессор? Помните только, что прикасаться к этому созданию нельзя.

Моравский внутренне содрогнулся, но пересилил себя и медленно подошел к дивану. Бледный и дрожащий, он приблизил свое ухо почти к самому рту материализованного привидения. Затем медленно приподнялся и сказал:

— Ни признака дыхания. И все время ощущение паутины... Совершенно такое, как вблизи электрической машины в действии.

— Это вполне понятно, — возразил Фадлан, — и то и другое — флюиды. Теперь произведем второе исследование. Я хочу заставить ее двигаться, не дотрагиваясь до нее.

Он направился к погребальной урне, которая все еще стояла на столе, и слегка ударил рукой по этой урне. Лемурия содрогнулась, все не открывая глаз. Четыре подобных удара произвели четыре одинаковых содрогания.

— Видите, профессор, еще осталась астральная связь между нашим созданием и остатками пепла; нужно будет ее впоследствии уничтожить. Именно это я и хотел узнать. Лемурия, проснись!

Она открыла глаза, но не двинула ни одним членом. Глаза ее были страшны и совершенно лишены жизни.

— Твои глаза мне не нравятся, — сказал Фадлан, — их нужно поправить. Сделай их такими, какие я люблю!

Лемурия несколько раз открыла и закрыла свои веки и в конце концов взгляд ее стал почти человеческим.

— Хорошо! А теперь попробуй подняться.

Она сделала несколько движений, но не поднялась с дивана.

Фадлан подошел почти вплотную к материализованной фигуре и, подняв правую руку, проговорил твердым голосом:

— Лемурия, я тебя заклинаю и повелеваю тебе проснуться без гнева и сопротивления. Проснись!

Лемурия приподнялась на своем ложе, села и сказала нежным голосом, в звуках которого, казалось, слышалась отдаленная песня:

— Так хорошо?

Глаза ее блестели, как звезды, на щеках выступил легкий румянец, золотые волосы рассыпались по плечам и легкое сияние просвечивало через них; казалось, вся она была одета в золото и бриллианты. Но это золото и бриллианты были ничто в сравнении с ее неземной красотой.

— Как она прекрасна,
— чуть слышно прошептал Фадлан.

Но Лемурия услышала и, с доверчивостью глядя своими прекрасными глазами на доктора, проговорила:

— Прекрасна?.. Я ваше создание, господин, и... ваша раба!..

Фадлан опустил голову, как будто бы несколько смущенный неожиданным оборотом, который грозили принять события. Потом, резко повернувшись к Моравскому, сказал:



— Дорогой профессор, не знаю, как вы, а я страшно устал. Собственно говоря, опыт наш на этот раз нужно признать удачным. Совершенно безопасно можно оставить Лемурию здесь, в лаборатории. Не пора ли нам отдохнуть как следует?

Моравский, действительно, едва стоял на ногах от усталости и нервного напряжения, да и Фадлан был бледнее обыкновенного.

— Прекрасная Лемурия, нам необходим отдых, — обратился Фадлан к материализованному призраку. — Ты останешься здесь и постарайся еще более приобрести жизнь. Теперь уже позднее утро, почти день. Итак, до свидания! Вечером мы увидимся снова.

— Я уже живу, — ответила Лемурия. — Но буду еще лучше, когда вы придете, господин. Могу ли я вас просить?

— Конечно... Говори!

Лемурия опустила глаза и слегка улыбнулась, — она стала совершенно женщиной.

— Господин, придите, прошу вас... без него!

Они вышли из лаборатории.

Через несколько минут Моравский уже прощался с Фадланом.

— Дорогой коллега, — сказал он на прощание, крепко пожимая руку доктору, — дорогой коллега, я не удивлюсь, если вы кончите тем, что безумно полюбите ваше дивное создание.

Фадлан пожал плечами.

— Это было бы очень печально, — ответил он. — Кто знает? Я не могу поручиться ни за что: Лемурия так прекрасна!

XII

Предсказание Моравского стало незаметно исполняться: Фадлан, нечувствительно для самого себя, все больше и больше начал интересоваться Лемурией. Она не была уже для него только объектом интересного опыта, она стала для

него женщиной, обворожительной и прекрасной. Он уже любил ее, хотя не сознавал этого, и, если бы кто-нибудь спросил его про Лемурию, он ответил бы с полным безразличием. А если бы кто-нибудь только намекнул ему про зарождающуюся любовь, он, усмехнувшись, совершенно искренне сказал бы, что страсти ему теперь незнакомы и, может быть, прибавил:

— Только один вид любви разрешается посвященному: самопожертвование...

Тем не менее, в долгие светлые вечера он любил оставаться вдвоем с Лемурией в своем кабинете, ведя с ней нескончаемые беседы и любуясь ее красотой. Она теперь стала уже совершенной женщиной, и ничто не напоминало странного появления ее на свет. Остались только две особенности: она слышала мысленный призыв Фадлана на каком угодно расстоянии и затем, в минуты сильного волнения, ее окружал фосфорический свет, нечто вроде бледного сияющего облака, светящегося тем сильнее, чем больше было ее волнение.

Обыкновенно, повинаясь призыву Фадлана, она являлась к нему в кабинет, задрапированная в белый пеплум, красиво облегавший ее стройную фигуру, усаживалась в кресло против стола, а иногда на диван рядом с Фадланом и рассказывала ему нескончаемые истории и легенды. Откуда брала она свои темы? Откуда развилась в ней ее удивительная фантазия? Вероятно, она черпала свое вдохновение из своего удивительного прошлого. А Фадлан часто, а за последние дни еще чаще, брал ее бледную руку с нервными узкими пальцами и подносил ее к своим горячим губам. Это делалось как-то само собой, незаметно для обоих и понемногу вошло в привычку. А леденящий холод и опасность прикосновения давно уже отошли в область предания и были основательно забыты.

Сегодня, как и всегда, Лемурия сидела на диване рядом со своим господином и, глядя на него большими глазами, в которых светилась загадочная тайна, тихим голосом рассказывала ему легенду про любовь девушки и мага.

В открытое окно глядела светлая ночь, свежий воздух

нес с своей волной аромат обрызганных росой цветов, посаженных в саду заботливой рукой Фадлана. Сюда не доносился суетливый шум города и было тихо и уютно в потонувшем в мягких тонах сумрака большом кабинете.

— Она была молодая и прекрасная языческая девушка, дочь жреца, — рассказывала Лемурия.

Голос ее звенел, словно серебряная лютня посылала откуда-то издалека певучие переливы тихих аккордов.

— И дочь жреца была прекрасна и свежа, как утренняя заря, ее так и звали подруги: утренняя зорька. А некоторые звали ее тихим светом. Юноши же, которых она не знала, называли ее пламенеющей тайной и весенним цветком... Окно ее комнаты выходило на соседний двор, где помещалась христианская церковь. И каждый день слышала она вдохновенный голос диакона, громко читавшего святое евангелие. Новые слова, полные любви и неземной красоты, глубоко трогали ее молодое сердце. И однажды вечером, когда мать, увидев ее, задумчивую и в слезах, спросила ее о причине ее горя, девушка бросилась к ее ногам и с плачем сказала:

— Благослови меня, о мать, или прости: я христианка!

Мать заплакала. Крепко обняла она свою дочь и поцеловала ее. А после пошла к мужу, которому и рассказала обо всем происшедшем. Он ничем не выразил гнева или удивления. Он заметил только, что поговорит с дочерью на другой день.

Они легли вместе на свое супружеское ложе и заснули с миром. И вот в раннюю предрассветную пору в тонком полусне пришло к ним откровение. Чудный свет сошел на них, и в этом свете услышали они дивный голос, который позвал их и сказал:

— Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас... Придите, возлюбленные моего Отца, и Я дам вам царство, которое приготовлено вам от начала века!

Наутро родители благословили свою дочь и все трое после обычного испытания удостоились святого крещения.

Но когда прекрасная девушка в белых одеждах, просветленная, свежая и блистающая, как весна, выходила из



церкви в сопровождении отца и матери, на ее пути встретились две темные фигуры, закутанные в черные мантии. Это был великий маг Киприан и его ученик Аскладий. Оба они остановились, пораженные красотой Юсты — так звали молодую девушку. Но она прошла к себе домой, даже не заметив двух мужчин, смотревших на нее с нескрываемым восторгом.

Глухой полночью под сводами лаборатории Киприана, он, стоя в магических кругах, зарезал жертву перед дымящейся курильницей. Жертва еще содрогалась в предсмертной агонии и страшные заклинания еще звенели в воздухе, когда появился мрачный князь тьмы:

— Я здесь! Ты меня звал? Говори: что тебе нужно?

— Я люблю девушку.

— Соблазни ее.

— Она христианка.

— Соврати ее.

— Я хочу обладать ею, но не хочу ее губить. Можешь ли ты сделать что-нибудь для меня?

Князь тьмы усмехнулся,

— Я соблазнил Еву, которая была невинна и которая была близка к Богу. Если твоя девушка христианка, знай, что я тот, кто заставил распять Иисуса Христа.

— Значит, ты мне ее отдашь?

— Возьми это магическое кольцо: благодаря ему ты войдешь в ее жилище. Остальное предоставь мне и подвластным мне духам.

Юста безмятежно спала в своей маленькой девичьей, убранной с строгой простотой. Киприан подошел невидимый к порогу ее двери, бормоча страшные заклинания. В то же время сатана пробрался к изголовью лежа молодой девушки и стал нашептывать ей страстные сны, в которых предстало ей изображение Киприана, встреченного ею у порога церкви; но на этот раз девушка уже смотрела в его жгучие очи, слушая сладкие и странные слова, которые заставляли то замирать, то сильно биться ее юное сердце.

Но она проснулась вовремя и с верой сотворила крестное знамение. Демон исчез, и соблазнитель, дежуривший

у дверей, тщетно провел на своем посту всю долгую ночь.

На другой день Киприан удвоил свои заклинания, и, когда злой дух явился ему, он жестоко упрекнул его в неисполнении обещания. Князь тьмы принужден был признать свое бессилие. Тогда Киприан прогнал его с позором и вызвал другого, высшего демона.

Этот новый демон превратился сначала в молодую девушку, а потом в молодого человека-христианина, которые окружили Юсту заботливостью, ласками, дружбой и советами. Это было сделано с такой хитростью и тонкостью, что девушка была готова пасть. Но ее добрый ангел-хранитель, верный страж ее души, спас ее: она снова прибегла к крестному знамению и снова отогнала от себя злого духа.

Тогда Киприан вызвал царя тьмы и властителя ада, самого Люцифера. Люцифер поразил Юсту страшными несчастьями и распространил смертоносную чуму по всей Антиохии. Устрашенный народ бросился к оракулам. Оракулы, устами которых говорил сатана, объявили, что чума прекратится только тогда, когда Юста принесет себя в жертву Венере и любви и всенародно отдастся Киприану. Но Юста всенародно же помолилась Господу, и чума прекратилась.

Люцифер оказался бессильным так же, как и все остальные, и Киприан уверовал в силу животворящего креста. Он бросил магию, сделался христианином, впоследствии стал епископом и перед смертью нашел Юсту в монастыре. Весь остаток дней своих они любили друг друга чистой и высокой любовью, и Господь послал им великое счастье: они были взяты в один и тот же день злыми язычниками и в один и тот же день и час преданы смерти, после которой заключили в лоне Божьем свое мистическое и вечное супружество...

Лемурия замолкла, слегка склонив свою красивую голову и мечтательно глядя в широкое окошко.

Оттуда теперь уже не лился смутный свет: зря погасла и слабый блеск звезд не мог рассеять темноту. Мягкие тона сумерек ушли вместе с последним словом нежной легенды; кабинет расплылся в ночных тенях, стены словно раздвинулись и стали невидимыми, и большой диван потонул

в бархатных волнах темной ночи. Только там, где помещалось окно, смутно серело пятно, большой четырехугольник менее плотной черноты, и на фоне его вырисовывался стройный профиль Лемурии, — чуть светились ее золотые волосы, свернутые в пышный греческий узел.

И было тихо и темно в большой комнате, и надвигалась на нее какая-то тайна.

— Какую красивую легенду ты рассказала, Лемурия, — промолвил Фадлан. — Откуда ты берешь все это?

— Не знаю, — ответила Лемурия. — Вам ведь приятно слушать? А я ваша раба и должна поступать так, как угодно вам. Хотите, я расскажу еще? То была легенда средних веков; теперь я расскажу вам из времен великого Христа, а потом приду к векам дорогой моей родины, священного Египта, Слушайте, господин, вот еще легенда.

И снова запели где-то вдали серебристые переливы свирели.

— Хмурое небо злилось с самого утра. Тучи громоздились одна на другую, темные и страшные, словно хотели навсегда закрыть синее небо от грешных людских глаз, чтобы не пачкали земные взоры его лучезарную синеву.

Потом пошел дождь. Злой, как невыплаканное горе, холодный, как любовь богача, мелкий, как душа завистливого человека.

Но и дождь не мог разогнать толпы, как не могла разогнать ее римская стража. Толпа шумела и волновалась, не обращая никакого внимания на погоду; то там, то здесь поднимались жилистые и загорелые руки с нервно скрюченными пальцами, иногда сжимавшимися в кулак. А небо хмурилось все больше и больше, — наконец, совсем почернело от гнева.

И тьма была по всей земле до часа девятого.

Прошел тяжелый день, наступила тихая, чудная южная ночь. Свернулись и ушли куда-то одна за другой хмурые тучи, не удалось им заслонить от людей сияния далеких звезд. Тысячами тысяч загорелись сияющие лампы, светлые и лучезарные, на высоком своде темного неба, и бархат тихой ночи одел небо и землю, и затканной чудными

созвездиями ризой закрыл свои очи Творец. Теплый летний воздух, словно дыхание близкой пустыни, едва колыхал сонную листву. Все вокруг было тихо и безмолвно. И в ночном безмолвии говорил Бог. Но люди не слышали Его голоса: они спали, отягченные грехом прошедшего дня.

Ночь спустилась, прикрыв своим покровом и людей и их грехи...

Но цветы, те, что росли около Пилатова дома, не спали. Они струили свое благоухание во тьме ночной и жадно глядели на восток, силясь рассмотреть то, что было целый день закрыто от них толпой народа. Там был каменный бутор, целая потрескавшаяся от жара гора. Но прежде на ней нельзя было ничего различить, — ни кустика, ни дерева, ни травки. А теперь наполовину выплывшая из-за горизонта большая желтая луна освещала на ней три креста. На двух из них, как раз по бокам третьего, смутно вырисовывались два пригвожденных мертвеца. У одного труп, вероятно, в предсмертной судороге, сорвался рука с гвоздя и весь он как-то сполз с креста. Другой вытянулся и застыл, как мраморное изваяние. Но на третьем никого не было, только на самом верху белела надпись на трех языках:

«Иисус Назорей, Царь Иудейский».

То был больше, чем царь, то был Бог, повешенный на позорном дереве на посмешище и поругание тех самых людей, за которых принес Он в жертву свою земную жизнь.

Теплый ветерок всколыхнул лепестки алой розы, которая росла у самого крыльца дома Пилата. Роза поняла, что он хочет говорить с нею, и вся превратилась в слух и внимание.

— Как ты можешь цвести и благоухать в такую ночь? — сказал ветерок. — Разве ты не знаешь, что сегодня произошло?

— Я ничего не знаю, — тихо ответила роза, — я сама хотела спросить тебя: что значат эти кресты?

— Злые люди убили сегодня человека, говорившего им о любви. Помнишь ли ты Пророка, который еще так недавно ходил здесь, уча народ? У Него было доброе лицо, каштановые волосы и синие, синие, как лазурь, глаза... Люди

били Его по лицу, они надели терновый венец на Его волосы; закрылись теперь Его очи...

И ветерок зарыдал, спрятавшись в зеленой листве сирени. А роза поникла своей пунцовой головкой, и слезинка, как капля росы, повисла на одном из ее лепестков.

— А Он учил их только любви и добру, — за что они Его убили? — продолжал ветерок. — Но ты знаешь? Там... там ребенок заплакал горькими слезами, ему жалко стало Пророка. И знаешь? Везде, где падала на землю слеза ребенка, — вырастала сейчас же фиалка.

— Унеси меня туда, я хочу видеть Его крест, — сказала роза.

— Но ведь ты умрешь, если я оборву твои лепестки?

— Что ж, пусть я умру! Я не хочу жить после того, что ты мне рассказал: пусть моя жизнь будет жертвой Великому Учителю.

И ветерок оборвал все лепестки душистой розы, все до единого, и чудными узорами рассыпал их у подножья креста, где теснились лиловым ковром благоухающие прекрасные фиалки.

Прошло немного времени, и вот благая весть раздалась по городу. Учитель не умер, — Он воскрес. Он оказался сильнее смерти и победил ее, и прогнал вон из мира. Не помогли ей ни печати, наложенные на гроб, ни стража у могилы, ни все ухищрения и ковы искусившихся во лжи людей. Белый ангел пришел и отвалил камень, запечатанный евреями; ослепительные лучи света повергли ниц воинов, и Учитель вышел из гроба, кроткий и благостный, как всегда. А крест, бывший до сих пор символом людского позора, стал людской славой, — потому что на нем засияло слово, которым держится вся вселенная, великое слово — Любовь.

И вот простая женщина решилась пойти в Рим принести самому цезарю благую весть.

Решилась и исполнила свое желание.

Она пришла в Рим; но этого было мало, и здесь-то и началось самое главное. Нельзя было предстать перед цезарем с пустыми руками; что могла принести ему бедная жен-



щина? Правда, она была очень красива: рыжие, с золотым отливом, волосы могли закрыть ее всю благоухающей волной, ее глаза блестели, как отблеск двух сияющих огней в морской глубине, а ее лицо дышало дивной кротостью и отражением тихого неземного света. Но этого было недостаточно, чтобы обратить на себя внимание цезаря, да и стража все равно не пустит ее с пустыми руками, — таков закон: не изменять же его для какой-то, хотя и красивой, но никому не известной еврейки? Но женщина не потерялась и сделала то, что давно уже делали римские бедняки: она взяла несколько яиц, и с этим скромным даром пришла к цезарю, как приходили до нее и другие.

Ох, как страшно было стоять в толпе и ожидать выхода владыки полумира! Она казалась сама себе такой ничтожной и маленькой в сравнении с другими! Конечно, цезарь не обратит никакого внимания на ее скромный дар, так и не придется ей сообщить ему радостную весть...

Вдруг мысль, как молния, блеснула в смущенном мозгу женщины; быстро вынула она из узла туго скрученных волос острую шпильку и еще быстрее проколола себе нежную руку: алая, горячая кровь полилась из пораненной руки, окрашивая собой яйца. А когда цезарь, удивленный, остановился перед ней, окруженный блестящей свитой сенаторов в пурпуровых тогах и всадников, она вся зарделась лихорадочным румянцем и протянула ему красное яйцо:

— Христос Воскрес!

То было данным давно, почти две тысячи лет тому назад, то было... во время оно...

Лемурия окончила свою легенду, — темнота стала как будто гуще и черные тени обступили со всех сторон широкий диван.

Жуткое волнение постепенно овладевало Фадланом. Оно появилось еще тогда, когда Лемурия начала свою вторую легенду, и доктор почти не слышал слов прекрасной девушки. Он искал в темноте легкое светозарное облачко, трепетно освещавшее Лемурию, и жадно следил за милыми чертами бледного лица. Теперь оно было совсем близко от него; антично прекрасное круглое плечо блистало во тьме,



дразнили красные чувственные губы, дрожали длинные ресницы дивных глаз. И сердце Фадлана билось, как пойманная пташка в тесной клетке, грудь тяжело вздымалась, — не хватало воздуха, — а губы сохли и бессвязные мысли жгли туманившийся мозг.

— Нравится вам моя сказка, господин?

Она резко повернулась к Фадлану. Облачко вспыхнуло ярче, толстый жгут прически распустился и благоухающая волна волос пышным каскадом рассыпалась по плечам и спустилась на колени.

— Лемурия!.. Лемурия, — я тебя обожаю! — вдруг страстно прошептал Фадлан.

Вся его сдержанность исчезла, и далеко, далеко ушли золотые правила старого махатмы, когда-то предостерегавшего его от любовного экстаза, словно этих правил не бывало, словно никогда не существовало и самого старого махатмы. Это уже не был холодный мудрец, с любопытством ученого следивший за таинственным опытом седой науки;

это уже не был посвященный, свято державший свои священные клятвы. Это был обыкновенный человек, бедный человек, мятущийся в оковах сжигавшей его страсти.

Лемурия побледнела еще больше, чем обыкновенно, теперь лицо ее стало белее алебаstra.

— Господин...

Фадлан встрепенулся.

— Послушай, Лемурия! Зачем ты называешь меня господином? Забудь, забудь навсегда, чем ты была раньше!.. Будь настоящей женщиной, такой же, как другие, люби и наслаждайся, будь человеком, как и я. Ты прекрасна, и ты делаешь все, что я хочу. А я хочу... Я хочу твоей любви! Да, твоей любви, но свободной, «своей любви», а не бесстрастного и покорного исполнения моей воли. Я хочу безбрежной страсти, забвения, опьянения, кипучего восторга!.. Лемурия, разве ты не видишь, как я страдаю?

Лемурия задрожала.

— Господин... Господин, что вы говорите? Вспомните, кто вы и кто я! Ведь вы — посвященный, неужели же вы падете, вы — высокий и чистый, вы — светлый луч?

Она хотела встать, но Фадлан крепче сжал ее руку и привлек трепещущую и сопротивляющуюся бледную девушку к себе.

— Лемурия, Лемурия... постой.... не дрожи и не бойся! Слушай: я хочу в свою очередь рассказать тебе легенду, не хуже твоих. Полно же, не волнуйся, не дрожи! Сядь сюда, ближе ко мне, оставь твою руку в моей, пойми — к нам идет счастье... Слушай, Лемурия: когда-то давно, очень давно ангелы сошли с неба на землю, чтобы любить дочерей земли, потому что в те времена, когда люди размножились, среди них родились девушки поразительной красоты. И когда ангелы, сыны неба, увидели красоту женщин, они влюбились в них. И ангелы говорили между собой:

— Пойдем, выберем себе жен из рода людского и приживем с ними детей.

И сказал им их владыка Самиаза:

— Может быть, у вас не хватит мужества исполнить ваше намерение, и я останусь один виноватым в вашем паде-

нии?

Но они ему ответили:

— Мы клянемся никогда не раскаиваться и не проклинать нашу судьбу.

Их было двести и двести спустились с неба на горе Эрмон.

И с того времени гора эта стала называться Эрмон, что значит гора обещания.

И имена старших из этих ангелов, спустившихся на землю, были: Самаица, который был старшим из всех, Уракабарамиил, Азибиил, Тамиил, Рамиил, Данел, Азкийл, Саракуал, Азаил, Армерс, Батраал, Анан, Завебе, Самзавиил, Этраил, Турел, Зеамиил, Аразиал, Фадлан... первый из моего рода и чья эфирная кровь течет в моих жилах.

Они взяли себе жен из дочерей земли, с которыми сошлись. Они научили их магии, чародейству и разделению корней, деревьев и трав.

Амазарак открыл им тайны чародейства, Баркеал был владыкой тех, кто изучали звезды, Акибиил дал каббалистические знаки, Азаредел постиг движение луны, Фадлан посвятил дочерей земли в тайны любви.

Так рассказывает про падение ангелов старинная каббалистическая книга Эноха, взятого живым на небо.

Но, дорогая Лемурия, эти ангелы, сыновья Бога, были посвящены магии, потому что после своего падения они уже стали людьми через сближение с нескромными женщинами. Поглощенные страстью, они любили женщин, и похищена была от них тайна владычества и жертвы.

Тогда первоначальное и правильное развитие человеческого рода нарушилось, и великаны, то есть представители грубой силы и божественных знаний, похищенных с неба, завладели миром, который не мог избавиться от них иначе, как погрузившись в воды всеобщего потопа, в которых изгладились следы прошедшего.

Грех Самаицы и грех Адама схожи во всем, оба погрешили вследствие слабости сердца, оба вкусили от древа познания и оба далеко ушли от древа жизни. Я хочу быть третьим, Лемурия: что для меня древо жизни, когда через те-

бя я могу вкусить совершеннейшее из знаний, — познание любимой женщины?.. Пусть плод с дерева этого знания даст мне смерть, этот плод — драгоценность мира, это золотое яблоко — звезда земли, — безбрежная, чудная, кипучая земная любовь!

Есть еще другая древняя книга, которая называется книгой наказания Адама. Она рассказывает, что у Адама было два сына: Каин, представлявший собой грубую силу, и Авель, представлявший собой всю тонкость высшего знания. Они не могли поладить между собой и оба погибли один через другого. Наследство же перешло к третьему сыну, Сету, который был так свят, что мог входить в земной рай, и херувим не трогал его и не убивал своим пылающим мечом. Слушай, Лемурия: этого Сета знали у вас в священном Египте, и ты могла бы много рассказать про него...

То были ангелы, и они отказались от своей лучезарной славы, от блаженства безгрешной жизни, от могущества свободных знаний для любви дочерей земли, ибо само небо показалось им ничтожным, скучным и холодным без этой любви. Лемурия! О, Лемурия, ты прекраснейшая из дочерей земли, прекраснейшая и дважды рожденная... а я только посвященный, но не ангел и даже еще не свободный дух. Что такое мое посвящение? Что все мои знания и сила перед одним взглядом твоих глаз? Я хочу получить иное посвящение, новое и великое, у твоих дивных ног!

— Господин!.. Господин... Опомнитесь, что вы говорите?

— Ах, Лемурия! Я уже тяжко согрешил, переступив границы того, что было мне дозволено, еще тогда, когда воскресил тебя, и вот я наказан... тобой! По наказание мое сладостно и отрадно, и...

— О, господин, одумайтесь, пока не поздно... вы потеряете свободу!

— Ах! Свобода, свобода! Твоя любовь возвращает мне свободу, разрушая оковы моих знаний и моего посвящения! Моя свобода — это ты, и только ты одна... Лемурия, люби меня! Ты слышишь? Я так хочу!

Он притянул ее к себе. Но она еще колебалась.

— Ведь я только призрак... Безумный, что ты делаешь?

— Призрак!.. Мечта!.. Я тебя люблю!

Лемурия тяжело вздохнула, — свет ярче заблестел в ее роскошных волосах.

— Пусть будет так, как ты хочешь, возлюбленный!

— ...Суламита... Песня песней... Сладостная мечта... О, моя Суламита!..

Ее губы ответили страстным поцелуем на горячие лобзания Фадлана.

Предсказание Моравского исполнилось.

Свет вспыхнул еще раз и погас.

ХII

Моравский, друг и приятель семьи Хелмицких, бывал у них каждый вторник к обеду.

Сегодня, как и всегда, старый профессор вошел в гостиную уютной их квартиры на Моховой с сияющим цилиндром в руке и в своем обычном черном, наглухо застегнутом сюртуке.

Но мадам Хелмицкая встретила его с плачем и слезами.

— Дорогой профессор, вы наш старинный друг... нам не к кому обратиться, спасите от стыда наши седые головы, спасите счастье нашей Нади!

— Что случилось?.. Успокойтесь, — сказал Моравский.

А случилось то, что Варенгаузен бросил свою жену. Он взял отпуск, причем дома об этом ничего не знали, сказал жене, что едет в командировку, и уехал. Отсутствие писем навело на подозрения. А в результате оказалось, что он поехал не один, а вместе с княгиней Джординеско. Потом княгиня вернулась, а он остался неизвестно где. Такое положение длилось вот уже более двух месяцев и кончилось тем, что, как водится, пошли разные слухи, а бедная баронесса заболела.

Моравский сокрушенно покачивал своей седой головой в продолжение рассказа Хелмицкой об этих печальных со-

бытиях.

— Чем же я могу помочь? — заключил он. — Советовать, говорить жалкие слова значило бы только растравлять ваши раны. Впрочем, я в свою очередь посоветуюсь кое с кем и, может быть, что-нибудь и придумаем.

Этот кое-кто, с кем хотел посоветоваться Моравский, был, конечно, Фадлан.

Профессора больше всего изумляло участие во всей этой истории княгини Джординеско. Он вспомнил про свой разговор с Фадланом о вампиризме и о том, как доктор отозвался о Джординеско; он вспомнил о сцене, разыгравшейся между ней и Фадланом из-за розы; он вспомнил и о загадочных словах Фадлана; вспомнил почему-то и о том, что главным материалом для черных действий является человеческая кровь. Он терялся в предположениях и боялся делать выводы. Но, во всяком случае, дело было загадочное и таинственное, и он решил посоветоваться с Фадланом. Так случилось, что после обеда у Хелмицких Моравский очутился у Фадлана в его обширном кабинете, заваленном книгами и рукописями.

— Я вам, кажется, помешал, — сказал профессор, подходя к столу, за которым сидел погруженный в чтение Фадлан.

— Вы мне никогда не мешаете, дорогой профессор, — ответил Фадлан, отодвигая в сторону толстый фолиант.

— Что это вы читаете?

— Это собрание санскритских ментрам.

— А эти записи?

— Это? Это Даванаджара, наша древняя и священная рукопись. Садитесь, профессор, милости просим!

Он усадил профессора на кресло против себя и молча ожидал объяснения причины его прихода. Но профессор не знал, как приступить к щекотливому предмету беседы.

Наконец Моравский первым нарушил неловкое молчание.

— Эти ментрамы, как вы говорите, очень меня интересуют, — сказал он. — Это и суть те формулы, которые употребляют в Индии?

— Это стихи молитвы. А всякая молитва, на каком бы языке она ни была произнесена, есть магическая формула, потому что она низводит высшую силу на землю, если произносится с чистым сердцем.

— Есть ли границы могуществу молитв, употребляемых таким образом?

— Я спрошу вас в свою очередь, профессор: есть ли граница для силы сил?

— В таком случае, эта сила сил, умению пользоваться которой, как я заключаю из ваших слов, учит магия, делает то, что неизвестное на Западе знание дает обладающему им безграничное могущество...

— Простите, профессор! Я говорю о божественной силе, которую первый верующий может найти в своем сердце.

— Друг мой, ваши выражения изменяют вашей мысли: после опытов, при которых я присутствовал не один раз, я никак не считаю возможным отнестись серьезно к вашим словам.

— Значит, вы мне не верите?

— Нет, когда вы меня уверяете, что не существует никакой потусторонней силы, которую человек может привлечь особенными действиями, неизвестными официальной науке... Нет, тысячу раз нет! Я тоже читал работы по оккультизму. Скажите, пожалуйста: разве та же наша официальная наука не потрясена теперь, теперь, когда гипнотизм, внушение, телепатия, психометрия и множество других вещей привели ее лицом к лицу к неизвестному знанию, которое вы называете магией?

Фадлан молчал.

— Хорошо, — продолжал профессор, — хорошо! Вспомните опыты, — те опыты, которые вы мне показывали, когда еще были моим учеником? Вы тогда уже владели высшим знанием, о котором мы не имеем никакого понятия... Вспомните эти опыты, которыми вы ниспровергли все мои физические теории, заставляя, например, двигаться предметы без всякого физического воздействия на них, или разрушая и вновь восстанавливая любую вещь! Тогда вы мне говорили, что жизнь вовсе не есть частная и случайная соб-

ственность материи, но что она истекает из общего источника, из которого и человек может черпать по своей воле, только при известных условиях... Ну, а это чудо, при котором я присутствовал, ваше последнее чудо?

— То, что вы называете чудом, вещь самая обыкновенная, — наконец сказал с улыбкой Фадлан. — Допустим, что я обладаю некоторыми знаниями, еще неизвестными в западной науке, что же из этого?

Профессор слегка хлопнул Фадлана по плечу.

— Вот! — сказал он. — Я говорил все это для того, чтобы прийти...

— Прийти?..

— Прийти к... гм... У меня есть клиентка, которую необходимо... которую я хотел бы спасти.

— Но ваши знания и опытность, дорогой учитель?

— Ах, Боже мой! Сколько раз я просил вас не говорить «дорогой учитель». Учитель — это вы и мне нужно получить ваши разъяснения.

— В таком случае — консультация? — спросил Фадлан и рассмеялся.

— Да... но только особенного свойства.. Болезнь, о которой идет речь, не может быть найдена ни в одном из наших ученых трудов. Она не описана нигде, и тем страннее она, что тот, кто страдает, не есть тот, кто ей поражен.

— Это загадка, — заметил Фадлан. — В чем дело?

— В двух словах, вот в чем. Возможно ли средствами, о которых я не знаю и которыми вы, может быть, владеете, вернуть молодой женщине ее мужа? Мужа, который любил ее до обожания и вдруг подпал под скверное влияние другой женщины? Возможно ли это в том случае, если жена страдает и мучается, а муж, подчинившись чужой злой воле, не появляется дома?

Фадлан расхохотался.

— Эта болезнь, к сожалению, довольно обычна. Имя ее прекрасно известно в современной жизни, и излечивается она различными дозами морали, философии и в очень серьезных случаях полицейскими и судебными мерами, если не поможет дружеский совет.

— Погодите! То, что я вам рассказываю, вещь совсем не обыденная: здесь мы имеем дело с колдовством.

— Что вы хотите сказать? Колдовство?

— Я скажу яснее. Муж — я назвал бы его жертвой, если бы около него не было этого несчастного существа, которое умирает — муж любил до обожания свою молодую жену до тех пор, пока не сделал визит, после которого он более не вернулся домой. Он прислал записку, известившую о его отъезде по служебным делам. Это оказалось ложью. Возможно ли, чтобы в продолжение этого визита были уничтожены какими-нибудь сверхъестественными средствами его воля и любовь?

Фадлан опустил голову и задумался.

— Несколько лет тому назад я как-то разговорился с одним священником, очень умным и знающим человеком, — продолжал Моравский. — Он мне рассказывал, что существуют особые братства зла, сатанисты, чертопоклонники, обладающие, между прочим, особыми средствами и способами разрушать благо повсюду, где его встречают.

— Чертопоклонники? — лукаво улыбнулся Фадлан. — Не чертопоклонники, скажите — сумасшедшие! Если бы существовало какое-нибудь могущественное братство в подобном роде, центры наших посвященных знали бы про него — для того, чтобы сделать его безвредным.

Профессор вскочил с места, как ужаленный.

— Наконец-то! — вскричал он. — Вот наконец вы проговорились! Вы обладаете высшей силой. Ну вот, я не прошу у вас иного. Я внутренне убежден, я убежден до глубины души, что эта женщина его околдовала. Вы можете ее обезвредить. Сделайте это!

— Но я не могу, — возразил Фадлан. — Вы мне приписываете могущество...

— Которым вы владеете, я в этом уверен. Вы много раз говорили мне о могуществе человеческой воли, о могуществе человеческого желания... Ну вот, пожелайте же!

Фадлан молчал, как бы застыв в позе глубокого раздумья.

Профессор подошел к нему вплотную.

— Не вы ли говорили мне когда-то, что священная наука Востока заключается в особой философии, высшим проявлением которой является братство между людьми? Фадлан, есть два человеческих существа, которых нужно спасти, которых преследует зло!

Он взял доктора за руки и сказал со всей силой нежности, на какую был способен:

— Фадлан, если вы обладаете такой силой, неужели вы откажете в просьбе вашего старого учителя?

Фадлан поднял голову.

— Хорошо, — ответил он с усилием, — я попробую... Для вас...

— Наконец-то!

— Но не следует думать, что я могу идти с завязанными глазами в страшном потустороннем мире. Мне нужно видеть молодую женщину. Приведите ее ко мне.

Профессор не считал возможным скрывать далее имя и потому сказал:

— Вы ее знаете, вы ее видели вместе со мной на балу у Репиных. Припомните розу, о которую вы укололись, оживленные танцы, даму в черном платье.... разумеется, вы ее знаете!

— Я? — удивленно возразил Фадлан. — Как ее зовут?

— Баронесса Варенгаузен.

Услышав это имя, Фадлан склонился, словно сраженный тяжелым и неожиданным ударом. Потом, после долгого молчания, он прошелся по комнате взад и вперед, остановился и проговорил хриплым голосом:

— Она?.. Нет, нет!.. И не думайте, я не могу... Нет, я не могу!

Он страшно волновался и весь дрожал.

— Но почему же?

— Если бы вы знали! — продолжал Фадлан с рыданием в голосе.

— В чем дело, наконец?

— Но поймите, ведь я ее любил... там... Я ее любил! И вы хотите, чтобы я?.. Ах, нет, это выше моих сил!

Он упал в изнеможении в кресло. Моравский, в порыве жалости и сострадания, обнял его и тихо стал гладить его низко опущенную на грудь голову:

— Да, — проговорил он тихим голосом, — да, я понимаю!.. Возвратить ее мужу? Я понимаю... это очень тяжело, и я вам сочувствую. Но, мысленно подымаясь к величию добровольной жертвы, жертвы любви, — вы ее спасете, Фадлан! Вы ее спасете за то, что вы ее любили.

— Но это ужасно, этот выбор! Мой долг и мое чувство! И вы хотите...

Профессор поднялся и холодно сказал:

— Значит, вы ее не любили и у вас, как и у большинства людей, любовь — это только пустой звук.

— Я?.. Не любил?

— Тогда спасите ее,

— Если бы вы знали, как разрывается мое сердце!

Воцарилось молчание.

— Фадлан, — сказал наконец профессор, — послушайте меня, Фадлан! Разве не должен доктор, позванный к смертельно больному, хотя бы это был его страшнейший враг, испробовать все средства для того, чтобы его спасти? Фадлан, или твое учение менее чисто, чем наше?

Фадлан содрогнулся и ответил:

— Хорошо, пусть она придет... пусть!

Профессор обнял Фадлана и крепко его поцеловал.

— Друг мой, я знал, что вы не откажете мне, вашему старому другу, обратившемуся к вам за помощью. Никто и никогда не узнает, какую громадную жертву принесли вы сегодня в своем собственном сердце. Но та великая сила, которой вы служите, видит ее. Она видит и то уважение, с каким я к вам отношусь: Фадлан, друг мой, вы победили самого себя!

— Ах, профессор, я уже забыл ее, я был так счастлив! Но вы снова разбудили старое. Что ж, я отправлю туда, откуда вызвал, сладкий обман, дивный мираж, которым жил!

— Что вы говорите, мой друг? Я вас не понимаю.

— Какое вам дело, профессор? Я исполню вашу просьбу: приведите завтра баронессу.

Профессор исполнил свою задачу. Он взял свой цилиндр, надел перчатку и встал с кресла:

— Мы будем у вас завтра, должно быть, часа в четыре. Пока до свидания. Еще раз от души, сердечно благодарю вас, Фадлан!

Он, крепко пожав руку Фадлана, вышел из кабинета.

Фадлан остался один.

Долго сидел он, опустив голову на руки, недвижимый и бледный. Крупные слезы катились из его глаз, но он не замечал их в страданиях тяжелой борьбы с самим собой. Старая любовь воскресла с новой силой. И все его знания, вся его сила, могущество воли и власть над физическим своим существом остались где-то далеко. Одна воскресшая любовь победно царила в разбитом сердце: он весь был поглощен ей, ни на минуту не забывая, что должен подавить ее в себе до конца своих дней. Мысли вихрем крутились в голове, и ни одна не выливалась в ясное и сознательное представление, и кругом была темнота, беспросветная темнота...

Так прошло много времени; большие часы в кабинете глухо пробили один раз, два и три, шел уже четвертый час ночи.

Наконец Фадлан одержал победу. Он поднялся с бледным и расстроенным лицом, но полный твердого и незыблемого решения. В нем воскресло лучшее и высшее, что он имел в своей душе. И он теперь стыдился самого себя, так как не смог сразу покорить низменную страсть земной любви священным сознанием того, что было его обязанностью. Мог ли он, посвященный Махатмами, адепт высших питрийских знаний, он, которому мудрецы передали в священных мистериях владычество над великими силами, мог ли он пасть так низко и стать рабом самого себя?

Он понял, что его минутная слабость, быть может, повлияла уже на высшую и божественную силу, которую он приобрел долгими годами невыразимой борьбы и гигантских усилий.

Он упал на колени и, закрыв глаза, обратился к Началу всех начал, к Высшему, с горячей просьбой поддержать его колеблющийся дух. Он просил Его снизить в его сердце,

чтобы просветить и укрепить его, и просветленная его воля снова явилась в нем и он вполне овладел самим собой.

Фадлан поднялся с колен.

«Случай! — подумал он. — Случай, бог глупцов, ты для мага не более, как маска, под которой проявляется высшая воля. Случай, покажи мне твое лицо и ответь мне!»

Он подошел к шкафу и взял с нижней полки книгу.

— Махгабарата, — пробормотал он, глядя на заглавие.

Наудачу развернув книгу, он прочел:

«Мудрец, который хочет любить, более не мудрец, если только он не приносит своею любовью в жертву самого себя».

Он взял другую книгу, посмотрел на заглавный лист:

— Спросим здесь.

И он прочел:

«Все жертва, все самозабвение в восторженном самоотвержении любви».

Он перелистал еще несколько книг и в одном из запыленных томов ему попала строчка:

«Нет истинной любви без самоотвержения и жертвы».

Он опустил голову и склонился пред таким образом выраженной высшей волей и губы его прошептали священное слово:

— ОУМ...

И в сердце его, среди развалин всего, что было земным и дорогим для него, зажглась яркая звезда, и душа в сладком порыве потянулась к Высшему Добру...

Ему стало легко, легко, как никогда.

— ОУМ!

Фадлан окончил молитву и, просветленный и успокоенный, снова сел в свое кресло у письменного стола.

— Да вот еще... вот что еще нужно сделать, — пробормотал Фадлан. — Одно последнее усилие. Но как же иначе? Лемурия, чудное мое создание и проявление воли, подарила мне много счастливых минут! Имеет ли право мастер разрушить свое собственное произведение? Конечно, да. Да и кому я ее оставляю? Чьему духу она будет так же покорна, как была покорна моему? Исполним же скорее этот печаль-

ный акт.

Он нахмурил брови, закрыл глаза и, вытянув вперед обе руки, проговорил три раза:

— Лемурия! Лемурия! Лемурия!

Дверь в глубине комнаты медленно открылась и на пороге показалась Лемурия, бледная и прекрасная, как всегда. Белая ее одежда длинными складками ниспадала вокруг высокого стана; флуоресцирующее сияние светилось больше обыденного, — она волновалась.

— Ты меня звал, господин? Я пришла.

Фадлан с печальной улыбкой смотрел на прелестное создание:

— Ты послушна, Лемурия, благодарю тебя! Садись вот здесь, против меня, я хочу тебе сказать... я хочу тебе сказать...

Фадлан замолк, собираясь с силами: он жалел Лемурию.

— Вы расстроены, господин. Отчего вы не жалеете свою рабу?

— Я? Почему ты думаешь, что я тебя не жалею?

— Потому что вы не жалеете себя,

— Бросим говорить об этом. Послушай, Лемурия, я вы-
звал тебя к жизни... Я сделал тебя прекрасной, я сделал тебя, бездушную лярву, почти человеком. Почти... потому что, прекрасная телом, ты все же без души.

— Разве вам это когда-нибудь мешало? Разве я не была вам покорна всегда и во всем? Разве я не дарила вам мгновений страсти, которые вы сами называли упоительными? И разве я не видала вас, принявшего великое посвящение, у своих ног?

— Ты до того усвоила себе все, что я желал, Лемурия, что, кажется, хочешь симулировать супружескую сцену. Стой, я этого не люблю! Слушай, — это были оковы тела, от которых и я до сих пор не был свободен. Но теперь... вот пришел час, и я должен, — понимаешь ли? — должен с тобой расстаться.

— О, господин! — простонала Лемурия.

— От всего того, что составляло твою действительную сущность, осталось только повиновение моей воле, да сияю-

щий твои лимб, Лемурия. Я верну тебе все твое и возьму свое... Разве это не справедливо? И ты уйдешь туда, откуда пришла, и здесь на земле не останется от тебя даже и кучки пепла. Ты хочешь что-то сказать? Говори, я слушаю.

Лемурия тяжело вздохнула:

— Я покорна вашей воле, господин! Если вам угодно было создать меня, вы в праве уничтожить свое создание. Но ведь я не одна, вы знаете, что во мне теплится новая жизнь, часть вас самих. Пусть это падение, но оно было и в нем было зарождение. Подумали ли вы об этом, господин?

Фадлан нахмурился.

— Решение мое неизменно, — сказал он твердо. — Что значит ничтожная крупница грубой материи в безбрежном и бесконечном токе астрала?

Он переломил пополам палочку мандрагорового корня и сделал над ней знак. Потом, бросив оба куска по направлению к Лемурии, сказал:

— Вот я возвращаю тебе твое знание и силу... но не отрешаю от повиновения. Кадох... халилу-иаб!

Лемурия вздрогнула. Лицо ее исказилось на мгновение, словно она ощутила острую физическую боль. Затем оно снова стало спокойным, и глаза ее приняли мертвое и бездушное выражение. Она сложила руки на груди и произнесла глухим голосом, точно говорила не она, а кто-то другой:

— Слушай, Фадлан! Слушай и учись...

Бессмертные души — дочери Озириса, божественного Разума и Изиды, небесного Света. Несотворенный Свет покориł эти блестящие искры, а оплодотворил их созидающий Огонь. И нисходят они на землю, снедаемые желанием жизни, и воплощаются в тысячах форм, чтобы затем легко подняться к родному небу и, поднявшись, снова спуститься на землю, будучи подобны каплям дождя, что пьет жадный океан, возвращая их солнцу! Но, радостные ли или страдающие, поющие или стнящие, благословляющие или проклинающие, — все они грезят о лучезарном возвращении к первоисточнику, о священной ночи, где нет мучения желаний, где нет границ знания, где Изиды и Озирис со-



четаются в великом океане вечного и живого света...

Пути их к миру разнообразны до бесконечности и нет им числа! Миллионы бесплотных душ лениво и бессознательно витают в безбрежном пространстве еще не сотворенных миров. Тысячи грубеют в злобе, поглощаются мраком и растворяются в первичных элементах. Но есть небольшое число тех, чья сила увеличивается в падении, чей слабый свет победно сопротивляется мрачной тьме! Они, переходя от усилия к усилию и от жизни к жизни, восходят к чистому источнику бессмертной зари и покоятся в том материнском свете, который озаряет Огонь-Создатель своими невыразимо прекрасными лучами, и оттуда получают они свою божественную власть и владычество над миром.

Подобно телам материальным, души различны между собой. Они мужские, если имеют в себе более отца — Духа-Зиждителя, или женские, если имеют более матери — живого и пластичного Света. И, будучи предназначены сочетаться и жить парами, чтобы отразить в себе совершенное Существо, каждая душа ищет себе подобную подругу... Но сколько ошибок, сколько страданий, сколько тщетных попыток и несчастных жизней!

Мало на земле совершенных браков. Счастливы мужчина и женщина, которые почувствовали при встрече в самом существе своем как бы божественное воспоминание! Счастлив супруг, узнавший и приветствующий свою бессмертную супругу! Ибо связь их священна. Ничто не может их разобщить, ничто не может их уничтожить... потому что они несут в самих себе факел мудрости, знание любви, огонь создающий и могущество чувствовать, понимать и творить добро.

И я — твоя бессмертная подруга! Я прошла через великие испытания и, вопреки твоей воле, сочеталась с тобой, Фадлан! Ты думал оживить бездушный астрал? Ты оживил его, — но в нем пришла я. И... ничто уже не может нас разлучить, ничто не может нас уничтожить, потому что и мы обладаем могуществом чувствовать, понимать и творить добро. Я уйду теперь, повинаясь твоей воле и желанию. Но близок, близок и твой час искупления! И я приду тогда, побед-

ная и сияющая, приду для того, чтобы, как любящая жена, помочь твоей бессмертной душе проникнуть в светлые горные обители. Прощай!

Она вся вспыхнула ярким светом и стала бледнеть, все больше и больше, как бы таять и расплываться в пространстве. Еще мгновение и больше уже ничего не оставалось перед Фадланом.

Только чей-то слабый голос, точно легкое дуновение ветерка, прошептал откуда-то:

— Прощай... прощай!

Фадлан низко опустил голову. Он остался один.

XIV

Ровно в четыре часа дня молодая баронесса Варенгаузен в сопровождении Моравского входила в кабинет Фадлана, где доктор встретил ее с низким поклоном.

На дворе стоял чудный весенний день, и столб горячего солнечного света, врываясь в зеркальное окно, сияющим ореолом окружал молодую женщину. Как это ни странно, но горе только увеличило ее красоту. Черты лица ее стали как будто бы тоньше и все оно как-то одухотворилось: вчерашний беззаботный ребенок превратился в женщину и женщина эта казалась вдвое прекраснее, чем тогда, когда Фадлан увидел ее на балу.

Но все человеческое Фадлана было уже уничтожено, и перед ней стоял только бесстрастный подвижник, полный внимания, участия и желания помочь.

Он внимательно посмотрел на баронессу, посадил ее в кресло и сказал:

— Мой учитель и друг, профессор Моравский, рассказал мне о том, чего вы ждете от меня. Он, может быть, имеет несколько преувеличенное понятие о моих способностях и силе; но, во всяком случае, я попытаюсь быть вам полезным. Я к вашим услугам, баронесса, но вы должны выполнить два условия. Первое очень просто: я прошу

иметь ко мне полное доверие, как будто бы я был вашим... отцом.

— Это уже исполнено, доктор, — ответила Варенгаузен.

— Второе условие гораздо труднее: оно требует от вас жертвы, очень трудной для женщины в вашем положении.

— Какая же это жертва?

— Вы должны простить их, простить не только на словах, но от всего сердца и без всякой задней мысли.

Молодая женщина содрогнулась.

— Как?.. Даже ей?

— Ей больше всего, — сурово ответил Фадлан. — Помните, что прощение есть заклятие добра. Вы должны смотреть на вашего мужа, как на больного, как на связанного в буквальном смысле этого слова, так как он сам себе уже больше не принадлежит. Вы должны смотреть на него, как на больного, которому ваши попечения и уход вернут утраченное здоровье. Но что касается до нее, то здесь дело совсем другого свойства. Я имею основание думать, после некоторых общих разъяснений профессора, что она действительно губит две чужих жизни, не сознавая зла, которое делает, и будучи толкаема фатальной силой. Вы должны смотреть на нее, как на несчастную погибшую сестру, отложив в сторону всякий намек на ненависть. Если вы меня понимаете — ваша сила увеличится вдесятеро.

— Простить ей?.. Ей?.. — возмутилась Варенгаузен. — Возможно ли это?

— Если это вам кажется свыше ваших сил, зачем вы ко мне пришли? Я ничего не могу сделать для вас.

Баронесса кусала губы, слезы показались на ее прекрасных глазах. Грудь ее высоко вздымалась, она готова была разрыдаться.

Фадлан покачал головой.

— Можете ли вы питать ненависть к змее, которая вам встретилась по дороге?.. Нет?.. Поступите так же по отношению к этой женщине.

— Вы этого хотите? Это необходимо? — сказала наконец она слабым голосом. — Хорошо! Я не имею против нее никакой ненависти и отказываюсь от какой-либо мести.

— От всей души?

— От всей души.

— Без всякой задней мысли?

Баронесса молча кивнула головой.

— В таком случае, судьба вашего мужа в ваших руках,
— медленно сказал Фадлан.

Баронесса улыбнулась сквозь слезы.

— Да! Тысячу раз да!.. Для того, чтобы спасти моего мужа, я сделаю все, откажусь от всякой ненависти. Может быть, ее нужно найти и сказать ей открыто, что я с ней примирилась?

Фадлан приблизился к ней и сказал ей авторитетно и энергичным тоном, но медленно и тихо, как бы запечатлевая слова в ее памяти:

— Да, ее нужно найти.

Баронесса побледнела.

— Я готова.

И она было направилась к двери, но Фадлан ее остановил.

— Нет, нет, погодите. Нужно, чтобы эта женщина не знала о том, что вы предпринимаете. С другой стороны, я должен точно знать сущность тех цепей, которыми она приковала к себе вашего мужа. Этого не могут видеть ваши телесные глаза, а между тем, нужно, чтобы вы мне сказали про все, что увидите. Верите ли вы мне решительно, бесповоротно и слепо?

Фадлан говорил с все более и более возрастающей авторитетностью, глаза его горели, на него невозможно было глядеть.

— Да, решительно, бесповоротно, слепо! — пролепетала баронесса.

Доктор подошел к ней с вытянутыми руками; кисти рук его были сложены и направлены на Варенгаузен.

Баронесса испустила легкий крик, губы ее зашевелились, но она не произнесла ни слова и замерла, как статуя, с опущенными руками и с глазами, устремленными в глаза Фадлана.

Он положил на, ее плечи свои руки и, быстро начертив мизинцем знак на ее лбу, тихо спросил:

— Вы меня слышите?

Губы баронессы чуть дрогнули, и она ответила:

— Да... я вас слышу.

Фадлан отошел немного в сторону от нее и снова проговорил:

— Вы должны отыскать вашего мужа. Где он?

— У нее... у этой женщины... около нее... Боря, Боря! О, Боря!

Она прибавила с невыразимой жалостью:

— Господи, какой он бледный! Как он изменился!

— Я говорил, что она губит две жизни, — пробормотал Фадлан. — Смотрите хорошенько! Хорошенько! — добавил он настойчиво.

Прошло несколько минут.

Вдруг баронесса вскрикнула:

— Он меня увидел! Он меня увидел!

— Хорошо, — сказал Фадлан. — Но пусть она вас не видит и не ощущает вашего присутствия. Понимаете?

— Да.

— Видите ли вы связь, соединяющую эту женщину с вашим мужем?

Баронесса забеспокоилась.

Она видимо испугалась, как бы стараясь спрятаться.

— Нет... Я не вижу... Она мне не позволяет. Она меня ищет.

Фадлан повторил более энергично:

— Я хочу, чтобы вы видели... Смотрите, смотрите хорошенько!

Прошло еще несколько минут. Варенгаузен в ужасе откинулась назад.

— О! О!.. Она меня ищет!

— Избегайте ее. Я вам приказываю видеть!

— Погодите... Я вижу... Точно будто бы светящаяся лента... Красная и голубая... Она выходит из Бориса и окружает эту женщину.

— Флюидическая связь. Жизнь, — пробормотал Фадлан.

Баронесса пронзительно вскрикнула от ужаса, вся задрожала и протянула руки, словно стараясь защититься от двигающейся опасности.

— Боже мой, Боже мой! Она меня увидела... Я не могу скрыться, ради Бога, помогите! Она... Валашка меня убьет!

Одним прыжком Фадлан очутился около нее и, как бы закрывая ее своим телом, поднял правую руку к небу, опустив левую к земле. Это была священная поза древних халдейских жрецов, защищавших кого-нибудь от злого духа.

— Вы говорите о валашке, — проговорил он, — я вас не понимаю... Какая валашка?

— Эта женщина..... эта женщина!..

Она замолкла с широко открытыми от ужаса глазами.

Моравский пришел на помощь к Варенгаузен.

— Ну да... Она говорит о княгине.

— Княгиня... Какая княгиня? — проговорил, бледнея, Фадлац.

Вдруг, точно приняв решение, нахмутив свои брови, он положил свои руки на голову молодой женщины.

— Вы сохраните воспоминание о всем, что было... Проснитесь!

Баронесса содрогнулась и стала постепенно приходить в себя.

— Вы сказали: княгиня, — обратился Фадлан к Моравскому. — Какая княгиня? Вы ее знаете?

— Княгиня Джординеско... Вы и сами ее знаете, вы были представлены ей на том же вечере у Репиных.

Фадлан пробормотал.

— У нее моя кровь!

Между тем, Варенгаузен окончательно пришла в себя. Она была совершенно спокойна и только бледность, проступившая на ее лице, указывала на пережитое волнение.

Фадлан долго смотрел печальными глазами на молодую женщину и сказал:

— Я думал принести вам в жертву все мое прошлое...

И, видя ее изумленный взгляд, добавил:

— О, вы меня, конечно, не понимаете. Но с этого мгновения меня нельзя считать больше среди существ этого све-

та, потому что моя жизнь приносится в жертву вашему счастью.

Как будто бы отдаленное воспоминание промелькнуло в памяти молодой баронессы при этих загадочных словах Фадлана, но она ничего не успела возразить, так как в разговор вмешался Моравский.

— Я понимаю, это гипноз, — обратился он к доктору. — Я понимаю еще, что в этом случае вы послали... вы послали душу субъекта туда, куда вам было угодно. Но как случилось, что эта женщина видела баронессу? Вот этого я не понимаю.

Фадлан не без иронии посмотрел на него.

— Там, где гипнотизеры Запада допускают случаи послания души, там маги своей волей посылают призрак тела и даже само тело, если нужно, дорогой мой друг!

В то время, как в доме Фадлана происходили описанные события, молодой Варенгаузен лежал в каком-то полубезумии на низкой тахте в будуаре у Джординеско.

Уже в продолжение трех недель он плохо сознавал, где он. Сейчас ему казалось, что голова его совершенно пуста и мысли не за что зацепиться; не было никакого воспоминания и вместе с тем не было никакого интереса к жизни. Он бессмысленно смотрел на красавицу-княгиню, которая стояла перед черным алтарем в длинных одеждах и египетском уборе на голове, сверкая драгоценностями и своей красотой. В жаровне курились ароматы, и завеса не скрывала черного зеркала.

— Шеваиот! Шеваиот! Шеваиот!

Она бросила щепотку куренья на жаровню.

— Шеваиот, соедини твою всемогущую волю с моей!

Глаза ее изумленно раскрылись: клубы пахучего дыма, вместо того, чтобы подниматься кверху, низко стлались

по полу.

— Что такое? Дым жертвоприношения не принят? Есть чужое влияние?

Она с удвоенной силой приступила к заклинанию.

Барон слегка приподнялся на тахте. Он увидел, как под влиянием заклинаний в темном зеркале медленно образовался светлый круг. Круг этот сначала был бледен и расплывчат; постепенно он удлинился, проступили контуры человеческого тела, вырисовалась стройная женская фигура, наконец, прояснело и лицо: можно было разобрать все черты до самой маленькой.

— Надя!

В мозгу барона сверкнуло воспоминание.

— Надя!

Джординеско взглянула в зеркало, но изображение пропало раньше, чем она могла что-либо увидеть.

— Что это? Начинается битва? Горе тому, кто осмелится попытаться вырвать у меня существо, которым я живу!

Она подняла руки, мысленно произнесла одно из самых могущественных заклинаний и начертила в пространстве обратный пантакль.

— Надя! — в третий раз вскрикнул барон.

Аврора так и впиалась главами в зеркало: в светящемся круге появилось изображение баронессы, испуганной и взволнованной, как бы старающейся скрыться,

— Я так и знала! — вскричала Аврора. — Погоди же!

Барон пролепетал:

— Что ты хочешь делать?

— Что? Уничтожить прошлое, больше ничего!

Она, как тигрица, бросилась к черному зеркалу и осталась, как вкопанная: рядом с баронессой появилось другое изображение, изображение человека, который недвижимо стоял с высоко поднятой правой рукой, у которой были сложены вместе три пальца, и с левой рукой, опущенной к земле.

Это был Фадлан.

Аврора пришла в бешенство при виде Фадлана.

— Он!.. Он осмеливается?.. Да будет!.. Я его уничтожу!

Барон окончательно вспомнил.

— Несчастная, что ты хочешь делать?.. Пощади! Это моя жена, я ее люблю!

— Он ее любит! — прошипела Аврора.

Она собрала всю свою волю и, обернувшись к барону, угрожающе протянула к нему руки. Без сопротивления, без крика Борис, как сноп, упал навзничь к подножию алтаря. Но, когда Аврора обернулась, в черном зеркале ничего не было, видение исчезло.

— А! — вскричала Аврора, вся дрожа от ненависти, — это война? Война без пощады... Шеваиот, ты поддержишь твою рабу!

Она снова подбросила новую щепотку куренья в жаровню, дым густым столбом поднялся кверху.

— Шеваиот, тебе угодно мое жертвоприношение! О, великий и славный дух, ты будешь удовлетворен вполне!

Не обращая внимания на неподвижное тело Бориса, она зажгла на алтаре три свечи из черного воска, стоявших в высоком канделябре из оксидированной бронзы. Красноватый свет разлился по комнате, тускло освещая алтарь, Аврору над неподвижно лежащим Борисом и отражаясь в черном зеркале.

Она сбросила с себя одежды и молча остановилась нагая пред алтарем, повторяя в уме своем священную букву:

— ШИН!

Потом Аврора взяла большой хрустальный кубок и, поставив его на маленький столик и протянув над ним свою левую руку, серебряным кинжалом нанесла себе удар в предплечье. Горячая кровь струей потекла в кристальный кубок и наполнила его почти до половины.

Тогда, взяв в одну руку кубок, а в другую засохший стебель розы, на котором запеклась кровь Фадлана, она высоко подняла их над головой и торжественно подошла к алтарю. Там, наступив ногой на неподвижное тело Бориса и зажмурив глаза, в неописуемом порыве злобного восторга, она проговорила:

— Шеваиот! Великий Шеваиот! Я, твоя раба, — я пред тобой... я принесу тебе в жертву заклтую кровь, и жизнь

врага моего будет связана с моею!

Она опустила голову и несколько минут оставалась как бы в полузабытье.

— Шеваиот, великий Шеваиот! Благоволи принять приносимую тебе службу и великое жертвоприношение крови!

Аврора опустила стебель розы в чашу с еще дымящейся кровью.

— Тебе, великому владыке зла, тебе, победному духу тьмы, тебе, могучему царю горя и слез!..

Она поставила на алтарь чашу и, наклонившись над ней, стала шептать:

— Ангел с мертвыми глазами, повинуйся! Крылатый бык, работай! Скованный орел, подчинись! Змей, упав к моим ногам! И пусть вода вернется к воде, горит огонь и дышит воздух, и земля покроет землю. Ози, Озуа, Озия!..

Она подняла руки и высоким голосом нараспев заговорила, заканчивая каждую строку быстрой скороговоркой:

— Рабыня зла выше веры, не верит и сама говорит ложь.

Я повелю бледным теням ада, без страха и трепета в сердце своем,

Да будет воля моя им закон!

Абигор и Люцифер, Балан и Мальф, вы, мрачные владыки,

Породите зло без конца, без конца рождайте его.

Великий Шеваиот, слава тебе!

Рабыня зла — владычица вселенной, и вселенная служит ей.

Я сойду за бледными тенями в ад без страха и трепета в сердце своем,

Да будет воля моя им закон!

Аман и Мамон, Белиал и Вельзевул, вы, мрачные владыки,

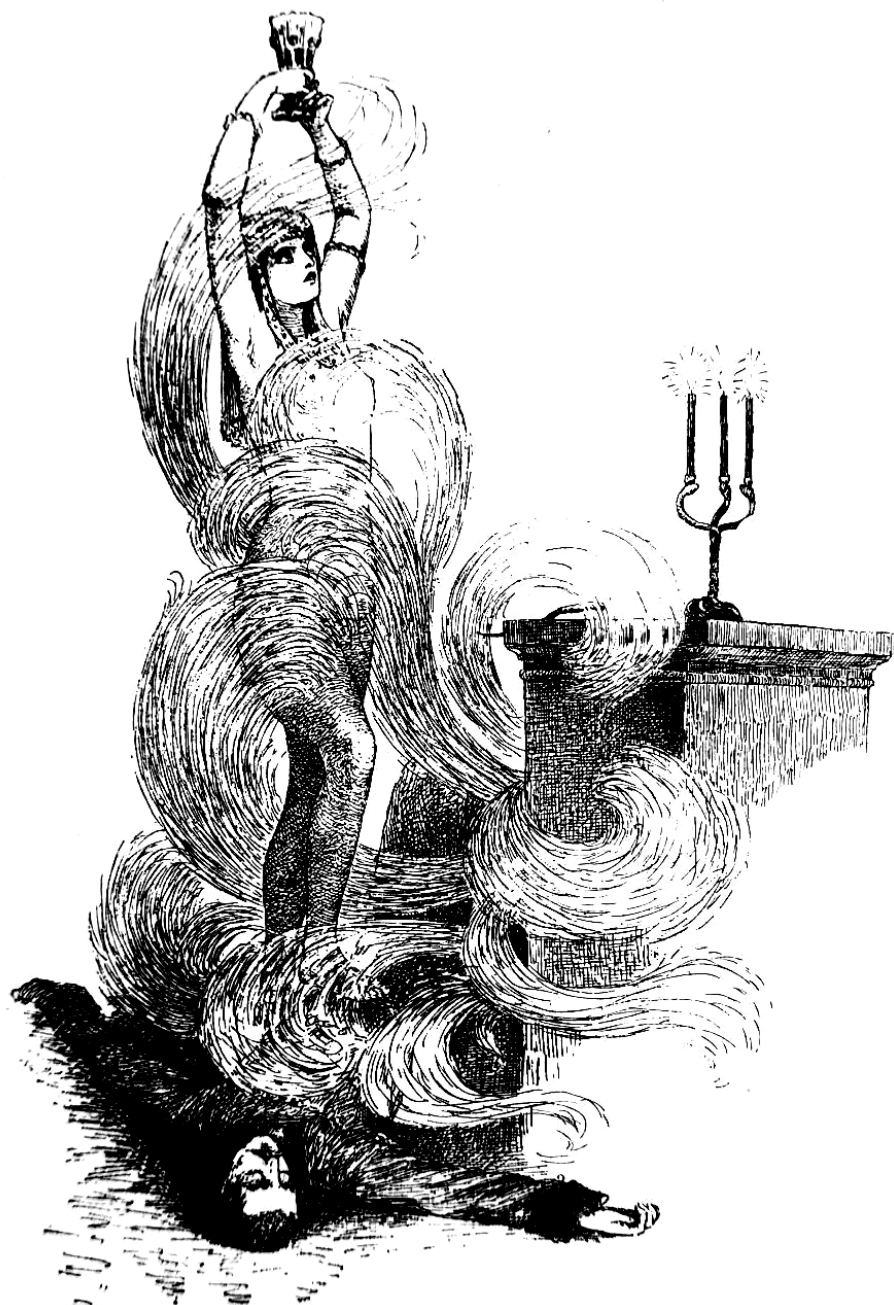
Породите зло без конца, без конца рождайте его.

Великий Шеваиот, слава тебе!

Небо и преисподняя одно, что наверху, то и внизу.

Я повелю безликим без имени, без страха и трепета в сердце своем,

Да будет воля моя им закон!



Гомори и Вельфегор, Айперос и Фурфур, вы, мрачные владыки,

Породите зло без конца, без конца рождайте его.

Великий Шеваиот, слава тебе!

Неудовлетворяемой страстью горят тени в аду.

Злобной забаве отдам я свое прекрасное тело, без страха и трепета в сердце своем,

Да будет воля моя им закон!

Астарот и Аниан, Теймон и Рагуар, вы, мрачные владыки,

Породите зло без конца, без конца рождайте его.

Великий Шеваиот, слава тебе!

Да возжет ночь светильник свой,

Восстань солнце, луна будь бела и ясна.

Я повелю бледным теням ада, без страха и трепета в сердце своем,

Да будет воля моя им закон!

Оробас и Молох, Кледде и Грамма, вы, мрачные владыки,

Породите зло без конца, без конца рождайте его.

Великий Шеваиот, слава тебе!

Их лики ужасны и тела странных форм,

Ныне демоны да будут ангелами святыми.

Я повелю безликим без имени, без страха в сердце своем,

Да будет воля моя им закон!

Силизий и Асмодей, Берит и Мархосий, вы, мрачные владыки,

Породите зло без конца, без конца рождайте его.

Великий Шеваиот, слава тебе!

Великий Шеваиот, слава тебе!

Великий Шеваиот, слава тебе!

Она склонилась до земли, затем, выпрямившись и взяв обеими руками чашу, высоко подняла ее над своей головой и в диком исступлении почти закричала:

— Гемен-Этан! Гемен-Этан! Гемен-Этан! Эль, ати, титэ-ин-азиа, Хин, Теу, Минозель, Ашадон, валь-ваа, Ейе-Ааа, Эйе-эксе, ЭЛЬ, ЭЛЬ, ЭЛЬ! А, ХИ — хау-хау-хау, ва-ва-ва-ва! Шеваиот!

Айе-Зарайе, айе-Зарайе, айе-Зарайе! Властью Элогимов, Аршима, Рабура, Батхаса, через Абрака владычествующих, появись, Абегор через Аберера! Шеваиот! Шеваиот! Шеваиот! Я тебе повелеваю печатью Соломона и великим именем Семхамфораса, прими в жертву нашу смешанную кровь!

Громадный клуб дыма вылетел из курильницы и окутал Аврору, ласково обволакивая плотным кольцом ее конвульсивно вздрагивающее тело. Гуще и гуще становился дым и резче благоухали одуряющие ароматы; черные свечи вспыхнули в последний раз и с треском погасли.

Блистая хрустальная чаша, высоко поднятая белевыми во тьме прекрасными руками валашки.

Но вот густое облако душистого дыма заволокло и эти белые руки... Аврора без чувств рухнула на неподвижно лежавшее тело Бориса. Чаша выпала из ее рук и с жалобным стоном разбилась на мелкие кусочки, — густеющая кровь темной лентой медленно потекла по ковру.

Так лежали у подножья черного алтаря, бок о бок, два неподвижных человеческих тела, одно в свободных одеждах, другое блистая своей наготой.

И черный дым крутился над ними и чудились в этом дыму необычные и страшные образы...

XV

Ранним утром Фадлан поехал за помощью к учителю.

Он знал уже, что его личное дело погибло, и, спасая других, он губит самого себя. Так выходило, смотря с земной точки зрения. Но именно то земное, что еще обитало в нем, говорило, что, может быть, остался какой-нибудь иной путь. Может быть, в борьбу с победной злой силой вступит другой и прикроет его могуществом своего знания и силы. Старый Махатма, направляя Фадлана на север, говорил ему, что там обитает некто сильнейший, и дозволил прибегнуть в тяжкую минуту к его помощи и покровительству. Однажды Фадлан уже обращался к нему мысленно, — то было пе-

ред опытом воскрешения, — но не получил ответа. Теперь он дерзнул лично отправиться к нему, — это была его последняя надежда, последняя соломинка утопавшего.

Ночью прошла гроза. Ливень смыл городскую пыль и грязь. Прямые улицы, дома с чистенькими крышами и словно лакированные мокрые вывески закрытых магазинов, омывшись дождевой водой, приняли совсем свежий вид и сияли на солнце, как новые. Но в теневой стороне еще таилась ночная свежесть, порывы ветра несли с собой холодное дыхание минувшей непогоды и по небу еще неслись ключья разорванных облаков.



На вокзале было совсем пусто. Взяв билет у сонного кассира, Фадлан очутился в пустом дачном поезде. Никто не ехал в будни на дачу в такую раннюю пору. Один только Фадлан спешил вон из Петербурга за помощью и советом к учителю, жившему у моря лето и зиму, вдали от городского шума и суеты.

Колокол ударил три раза. Кондукторский свисток залился долгой трелью, в ответ где-то далеко впереди гукнул паровоз. Звякнули цепи, в окне мелькнула красная фуражка начальника станции, усатое лицо жандарма в серой шинели с медалями и значками на груди; потом потянулась длинная досчатая платформа и побежали вправо и влево кладбища, поля и огороды.

Фадлан, забравшись в угол мягкого дивана, рассеянно смотрел в окошко и ничего не видел: в его сердце бушевала буря, а мысли вихрем крутились в разгоряченной голове.

Что ж, — неужели это конец всего, всего, всех знаний, работы напряженного труда на тернистом пути посвященного? Видел ли он счастье? Испытывал ли он радости бытия, легко доступные каждому, обладавшему его средствами и счастливыми условиями его независимого положения?

Он шел уверенной стопой по дороге знаний, недоступных большинству людей, и знания эти делали его почти свободным. Но обаяние женщины, неизмеримо низшей, чем он, и глупые предрассудки чуждой среды едва не погубили его.

Победа? Что толку в этой победе, когда счастье навсегда закрылось от него. Правда, земное и непрочное счастье, но это счастье было бы так обаятельно сладко! Благоухание цветка, живущего только один день... прекрасная заря, умирающая с наступлением ночи, капля благодатной росы, упавшая на ссохшуюся землю!

К чему привело купленное такой ценой знание? К ненужному и грешному делу, роковой ошибке, за которой следовало суровое наказание. В горделивом сознании своего опыта, знаний и сил, самонадеянной уверенности в победе над своим собственным сердцем, он отверг руководство старых махатм... Ему ли идти на помочах? И что ж! Куда девалось его кроткое спокойствие, величие человеческого духа и безграничная доброта, творившая чудеса в двух подвластных ей мирах?

Как неразумное и слепое дитя, не ведающее, что творит, он дерзко сорвал покрывало с таинственного чела смерти, и зло вселилось в него.

Не истязал ли он, хотя и во имя науки, бледное тело трупа?

Не совершил ли он обратного убийства?

Не вызвал ли он вновь Лемурию из царства теней?

Пусть так, пусть это тягчайшее из преступлений. Но наказание слишком тяжело! Он собственными руками разбил прекрасное творение своих же собственных рук. Он задумал свое сердце, согласившись вернуть мужа той, к кому жадно тянулось и льнуло это сердце, изнывая от горя и то-

ски. Он смело шел на смертную опасность, искупая свою ошибку.

Неужели этого мало? Неужели его уже сторожит бесконечность?

И эта давно желанная бесконечность теперь страшила его. Он испытывал муки агонии, которая еще не началась, но уже завладела его мозгом, сердцем и душой.

В неопикуемой тоске вышел он из вагона и, сам не созная как, очутился в большом и тенистом саду. Высокие сосны уходили в небо, в густой заросли цветущей сирени блистала осыпь дождевой пыли и воздух благоухал ароматом освеженных ночной грозой цветов. Горячее солнце ласкало зелень и злаки, и птицы на тысячи ладов сливали голоса свои с плеском прибрежных волн. И море, слившись с небом, посылало сюда свое влажное дыхание, и небо, слившись с морем, посылало сюда свой живительный поцелуй.

Учитель был здесь, в глубине сада, на повороте сиреневой аллеи. Легкий ветерок чуть шевелил седыми волосами его непокрытой головы, заботливо оберегая ее от солнечного зноя.

Фадлан понял, что это он, чьей дивной помощи жаждала его истстрадавшаяся душа, к кому неотразимо влекло его наболевшее сердце. Он ждал Фадлана. И Фадлан сразу почувствовал успокоение, тоска ушла куда-то далеко, грудь стала дышать свободно, и душа любовно потянулась к чудному старику.

Он на ходу сбросил с себя шляпу, пальто... дрожащими руками вынул драгоценный платок и, развернув, поверг его к ногам учителя вместе с ладаном, миррой и стирасом. То были дары, приносимые по правилам седого ритуала.

Потом распростерся ниц на сыром песке аллеи и, сейчас же поднявшись, со скорбным воплем приник к плечу учителя.

— Учитель! Душа моя... душа моя скорбит смертельно!

Неудержимые рыдания потрясали все тело Фадлана, и слезы потоком струились из его потухших очей. А учитель

тихо гладил его черные кудри, и чем сильнее струились слезы, тем ласковее становилось доброе старческое лицо, сходили с него суровые тени и разглаживались морщины. Последними ушли мелкие, лучами бегущие от глаз, и все лицо его стало радостным и светлым.



— Сын мой, я тебя ждал, — наконец промолвил он. — Ты видишь? Я в священных одеждах. Они радостны и светлы, потому что в благодатных слезах ты принес свое раскаяние, и небо примирилось с тобой. Смерть — твоё искупление. Но вот тебе сила, и покой, и твердость душевная, — прими их и мир да будет в твоей смятенной душе.

Он простер над ним свои бледные, худые руки, и Фадлан сразу почувствовал в себе и силу, и покой, и душевную твердость.

Он увлек его за собой в отдаленную часть сада, где странно цветущие в это время года розы и азалии, сплетшись между собой, составляли душистую сень, чьей крышей была синева небес, а роскошным ковром благовонные ландыши, лилии и фиалки.

— Бедное, слепое дитя, — сказал учитель. — Ты думал гордым знанием достичь высшей силы и проникнуть туда, где блаженные духи, счастливые ведением и свободой, славословят благого Творца. Но знание призрачно и ничтожно... как пена морская, как легкая волна исчезают гордые наставники и гибнут с ними их доверчивые ученики! Единому и Вечному нужна только пламенная молитва. Знаешь ли ты, что значит «милости хочу, а не жертвы»? Милости требует Он Себе, молитвы из милости, а не из-за страха желает Он Себе, — и в ней, в этой молитве, и знание, и мудрость, и сила!

Он воздел свои руки к небу и погрузился в молитву, которую никогда не слыхало ничье непосвященное ухо.

Светлый столб, целый сноп прозрачных лучей ярко загорелся в чаще зеленой листвы. Он тихо подвигался к дивному старцу, надвинулся на него и всего окутал сияющим пламенем...

Фадлан преклонил колени.

И снова зазвучал вдохновенный голос старца.

— Иди с миром, Фадлан! Ты дерзко заглянул за грань, доступную смертному, и вступил в союз с тем, что тебе не принадлежало. И ты сам уготовал себе судьбу. Иди искупать тяжкий грех твой и добровольно вкуси от смертной чаши. Но где смерть, там и возрождение, где грех, там и милосердие! Просвещенный иным миром и очищенный его огнем зародыш новой жизни, зачатый тобой с Лемурией, разовьется на земле через некогда любимую тобой женщину и будет открыто новому человеку, идущему в мир, его истинное имя. И он, твой сын, восстановит на земле новую, последнюю расу, и будет та раса эфирной, и вот дано ей увидеть последние дни земли. Да послужит тебе утешением и поддержкой это пророчество на твоём скорбном пути. О, Фадлан, Фадлан! Я просил, чтобы миновала тебя

физическая мука и жадный червь могилы, и мне дали это. Ты будешь служить мне одному, пока не достигнешь просветления. Когда удостоишься ты его? То знает один всемогущий, — благословенно имя Его!

Иди... иди... иди!..

.....

Наутро следующего дня Фадлан ожидал у себя Моравского и баронессу Варенгаузен. Он вернулся от учителя просветленным и успокоенным и тогда же послал записку профессору, приглашая его к себе вместе с пациенткой.

Фадлан надел на себя длинное восточное платье, вышитое драгоценными камнями, с широкими рукавами, на которых звенели маленькие бубенчики. Руки его украшали магические кольца. Голову покрывала небольшая тиара, вышитая жемчугом и бриллиантами.

— Ну что ж, — сказал он сам себе, — я одел свои погребальные одежды: мне надлежит быть пред лицом смерти в одежде посвященного. Я готов. И я счастлив принести себя в жертву во благо той, которая должна была составить счастье всей моей жизни.

Дверь отворилась: в кабинет вошла баронесса под руку с Моравским. Оба они в изумлении остановились, увидев Фадлана в странных и блестящих одеждах, но не посмели спросить его ни о чем.

Фадлан поклонился им издали.

— Вы помните наши условия, баронесса? — спросил он.

— Полное доверие и подчинение вашей воле, полное прощение Борису и... ей. Так?

— Вы простили?

— От всей души.

— Тогда будьте готовы. И вы тоже, — прибавил Фадлан, обращаясь к профессору.

Он позвонил. Появился слуга.

— Кто бы ни пришел, меня нет дома, — сказал Фадлан.

— Не принимайте никого, кроме дамы, которую вы нико-

гда не видели и которая войдет, не сказав вам ни слова. Ступайте.

Слуга поклонился и ушел. Фадлан повернулся к Моравскому и баронессе и проговорил строгим голосом:

— Твердо ли ваше сердце и владеете ли вы вполне своей волей?

— Да, — ответили они в один голос, пораженные торжественностью его тона.

— Хорошо! Вы будете моими помощниками в деле добра, к которому я приступаю. Да будет над вами благословение великого Блага!

Он, возложив на них руки, прибавил:

— С этого мгновения вы мне подчиняетесь, как рабы господину. Не забывайте этого.

Затем, удалясь от них, он открыл один из шкафов и, вынув оттуда длинный ковер неопределенного цвета, развернул его на полу кабинета.

В каждом углу этого ковра была вышита пятиконечная звезда. В середине были расположены четыре концентрических круга, заключавшие в себе центральную сферу и три расходящихся полосы с начертанными в них на неизвестном языке четырьмя священными именами. Центральная сфера имела на своих полюсах четыре буквы: Аз — по-славянски, Зет — по-латыни, Омега — по-гречески и Тау — по-еврейски. Эти буквы и знаки были начертаны на материи ковра чем-то вроде графита или черной краски, но не вышиты.

Затем Фадлан поставил в восточной части кругов тяжелый стол, скрытый под роскошно вышитым золотом и шелками покрывалом. Он снял это покрывало. Под ним обнаружилась выбитая на белом мраморе и вызолоченная звезда микрокосма. Вокруг нее шли семь лучей, искусно сделанных из семи мистических металлов.

Фадлан плотно закрыл все занавески, в комнате воцарилась полная тьма.

Затем, шепча молитву, он сделал знак и вытянул свои руки, обратясь лицом к востоку.

Вдруг из центра звезды полились потоки света, целый

розоватый столп ярких лучей образовался над ней. А над алтарем, почти под самым потолком, засиял в воздухе двойной треугольник, флуоресцирующий мягким и спокойным светом.

Тогда Фадлан обратился к ним и сказал голосом, тона которого они еще никогда не слыхали:

— Вы войдете в магический круг, не задевая ногами священных символов, которые тут начертаны и которые будут нашей защитой.

Когда они вошли в центральную сферу, он добавил:

— Что бы ни случилось, хотя бы от этого зависела ваша жизнь, вы не можете выходить из круга, кроме того случая, когда я выйду сам. Иначе вам грозит смертельная опасность. Вы понимаете теперь всю важность того действия, к которому я приступаю? Хотите ли все-таки в нем участвовать, что бы ни случилось?

И, приняв их утверждение, он заключил:

— Да будет Господь с нами!

Он присоединился к профессору и баронессе, стоявшим в круге.

Он полной горстью бросил куренья в центр звезды, откуда истекал розовый свет. Куренье задымилось густым облаком и аромат ладана разлился по комнате.

Тогда Моравский заметил, что Фадлан держал в правой руке нечто вроде жезла, а в левой — стальной меч, покрызтый странными знаками.

Фадлан вонзил меч в ковер у своих ног и, повернувшись к востоку, лицом к алтарю, громко начал читать великое заклинание древнего царя:

— Да будет владычество державы и силы под моей левой ногой и в правой моей руке! Да починут слава и вечность на плечах моих и направят па путь победы. И да буздут милосердие и правосудие равновесием и полнотой моей жизни и благоразумие и мудрость да увенчают меня. Духи Малшута проведут меня меж двух столпов, держащих на хребтах своих тяжкое строение Храма, ангелы Нетзаха и Хода, укрепите меня на кубическом камне Езода!

О, Джедулаил, о, Джебураил, о, Тинджерет! Бинаил, будь

моею любовью, Раух Ходжмаил, будь моим светом! Будь тем, что ты есть и чем ты будешь, о, Кеджарииль...

— Я боюсь, — пролепетала баронесса слабым голосом.

Профессор ободряюще пожал ей руку.

Фадлан продолжал:

— Исихим, служи мне во имя Саддаи, Херувим, будь моей силой во имя Адонаи, Бени-Элохим, будь моим братом во имя силы и благодати Зебаота, Элоим, сразись за меня во имя Тетраграмматона, Малахим, защити меня во имя Иеве, Серафим, очисти мою любовь во имя Элоаха, Хазмалим, освети меня полностью Элои и Хеджинаха!

Аралим, действуй, Офаним, повернись и распространись!

Хаиот Кадоху, кричи, говори, красней! Хадох, Хадох, Хадох, Саддаи, Адонаи, Етджавах, Эиязерие! Халлелу-иаб, Халлелу-иах, Халледу-иах. Аминь... Силы нездешние, приведите врага!..

И в то время, как просящий голос его увеличивал свою мольбу, флуоресценцирующий свет вокруг них прогонял тьму, слышались стуки и глухие удары, словно чей-то слабый голос принес откуда-то плачевную жалобу и затих в отдаленном рыдании. В воздухе заблестали неясные огоньки, летавшие по разным направлениям, точно хлопья светящегося снега:

— Я боюсь, — повторила баронесса, прижимаясь к профессору.

Фадлан продолжал Соломоново заклинание.

Мало-помалу бегающие огни соединились, как бы уплотнились и постепенно собрались в подобие человеческого существа. Фадлан прервал заклинание. Баронесса и Моравский вскрикнули в один голос:

— Она!

— Это ты, Аврора? — спросил Фадлан громким голосом.

Призрак колебался, как бы делая усилие, чтобы ответить.

— Если это ты, отвечай на мой вопрос! — повторил Фадлан.

Еще раз светящаяся тень заколебалась, но ответа не последовало.

Фадлан схватил меч и направил острый конец его на призрака, который, казалось, старался его избежать, но напрасно: меч коснулся его своим острием и изображение вспыхнуло и расплылось в пространстве подобно тому, как расплывается после грозы истечение электричества с острия громоотвода.

— Нет, — громко промолвил Фадлан, — ты только лживое изображение, пришедшее, чтобы нас обмануть! Я знаю лучше тебя, Аврора, злые галлюцинации и умею с ними справиться. Не надейся обмануть меня лживым изображением, я хочу тебя привести сюда, тебя саму, Аврора, создание зла! И вот, слушай меня, Аврора! Силой Того, Чье имя не дерзает никто произнести, силою Того, пред Чьим невыразимым именем повергается всякое существо в троичности миров, приди!.. приди!.. приди!.. Моя воля того желает!

У баронессы подкосились колени.

— Я больше не могу!

Но профессор, бледный, как смерть, снова поддержал ее, пролепетав:

— Мужайтесь... Мужайтесь! Вспомните о Борисе!

Фадлан по-прежнему вонзил меч у своих ног и, повернувшись к алтарю, возобновил заклинание.

— Аралим, действуй! Офаним, повернись и распространись!

Хаиот Кадоху, кричи, говори, красней! Хадох, Хадох, Хадох, Саддаи, Адонаи, Етшавах, Эиязерие!

Халлелу-иаб, Халлелу-иах, Халлелу-иах. Аминь... Силы нездешние, приводите врага!

Фосфорические искры заблестали в воздухе, снова раздались стуки и стены задрожали от глухих ударов.

Наконец дверь порывисто открылась и снова закрылась, и в комнате появилась Аврора.

— Я здесь.

Воцарилось тяжелое молчание.

— Я здесь, — повторила она с отворачиванием в голосе. — Я слышала твой зов, Фадлан, и твоя сила притянула меня. Я знаю, чего ты от меня хочешь.

Глаза Фадлана сверкнули и лицо его побледнело.



— Ты на дороге зла, Аврора.

— Какова бы ни была моя дорога, — ответила со злобой Аврора, — что тебе за дело до нее? Какова бы ни была моя дорога, добровольно или не добровольно, но она выбрана мной. Зачем ты стал на моем пути, Фадлан? Возьми себе эту, — она указала на баронессу, — как я взяла его себе!

— Зло начертало на твоём лбу свой знак, несчастная женщина! Но зло царствует только на земле, а здесь повинуются тому, кто повелевает именем добра. И я повелеваю тебе разорвать узы, которыми связала ты свою жертву!

С западной стороны внешнего круга обозначилась туманная светлая фигура. По мере того, как говорил Фадлан, она уплотнялась, росла и среди светящегося облака ясно вырисовалась прекрасная Лемурия.

Сверкающий взгляд ее холодных и бесстрастных глаз был внимательно устремлен на Фадлана, руки сложены на груди, белая вуаль ниспадала с головы до пят и терялась в пространстве.

— Ты мне повелеваешь? — сказала Аврора с ехидной улыбкой. — Сумасшедший! Ты не знаешь, что я смешала твою кровь с моей пред лицом безымянной потусторонней силы. Твоя судьба слилась с моей... Что можешь ты против меня, несчастный?

— Я могу умереть, и ты последуешь за мной.

Лемурия подвинулась по окружности круга по направлению к Фадлану. Он ее не замечал.

— Ты?.. Умереть?.. — вскрикнула в ужасе Аврора.

Но затем быстро оправилась и прибавила:

— Напрасная угроза! Ты забыл, что самоубийство тебе запрещено?

Лемурия пододвинулась еще ближе.

— Да, умереть! — вскрикнул Фадлан. — Самоубийство запрещено, но жертва разрешается, и, так как ты не хочешь...

Он сделал жезлом быстрый знак в пространстве и отбросил сам жезл далеко от себя.

Он увидел Лемурию.

— А, и ты здесь, великая тень? Ты пришла за мной? Я иду... Пусть злобные силы, вызванные тобой, Аврора, унич-

тожат меня сейчас, и жизнь твоя последует за моей!

И прежде, чем испуганная Аврора могла предпринять что-либо, Фадлан бросился вон из круга, простирая руки к неподвижной Лемурии.

Пламень на алтаре вспыхнул и исчез, исчез и двойной треугольник под потолком. Там, где стояла Лемурия, крутился столб ослепительно белого пламени... Затем он погас и наступила полная темнота.

Баронесса потеряла сознание.

Моравский, забыв об опасности, бросился к дверям, призывая на помощь. Но опасности уже не было, так как жертва Фадлана уничтожила очарование.

Когда вбежавшие слуги отдернули занавеси и дневной свет ворвался в комнату, странная картина представилась глазам присутствующих. Там, где стояла Лемурия, виднелось на ковре большое прожженное пятно, среди которого на обгорелом паркете резко выделялась чудная белая роза. Неподалеку от нее корчилась в тяжелой агонии Аврора. Глаза ее были сомкнуты, пальцы царапали пол, в горле уже kloкотал колоколец. В центре круга понемногу приходила в себя, благодаря стараниям и заботливости профессора, баронесса.

Но Фадлана не было с ними, — он ушел туда, откуда никогда уже не должен был возвращаться.

Моравский вывел баронессу из круга и тихонько подвел ее к белой розе.

— Вот все, — сказал он, поднимая розу, — что осталось нам на память от дорогого нашего друга. Жертва его была велика... Берегите эту розу, Надя, берегите ее вместе с вашим мужем, который отныне вам возвращен.

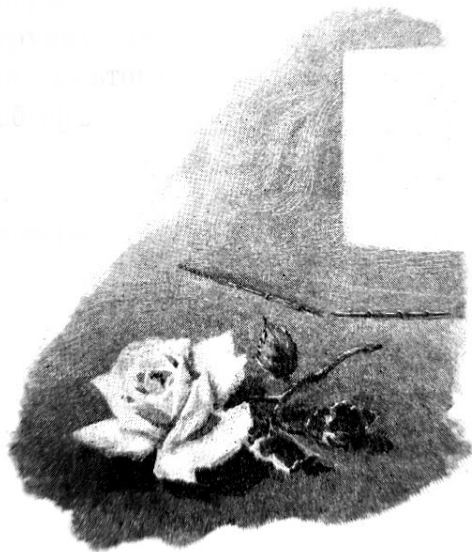
Берегите ее, ибо это будет приятно тому, кто принес свою собственную любовь, счастье и жизнь в жертву иной великой любви. Мир его светлой душе!

Они опустили на колени и мир вошел в их потрясенные души.

А в широкие окна горячей струей лился радостный солнечный свет и позлащал живительными лучами своими и бледный труп Авроры, и коленопреклоненную группу лю-

дей, и пышный цветок белой розы на обгорелом полу.
— Надя!

На пороге стоял Борис. Глаза его блистали любовью и счастьем и на бледных щеках горел румянец...



ПРИМЕЧАНИЯ

Как может заметить читатель, в книге мы избегаем расшифровки псевдонима «Вега», под которым роман «На вершинах знания» был опубликован в 1909 г. издательством А. С. Суворина.

Чаще всего авторство романа приписывается Василию Васильевичу Гейману (1870 – ?), инженер-полковнику путей сообщения, автору статей в «Новом времени» и большому энтузиасту автомобилизма. Гейман известен как победитель ряда автогонок и организатор автопробега 1913 г., о котором написал изданную в 1914 г. под собственной фамилией книгу «По градам и весям родной земли: (10000 верст на автомобиле)». Биографические сведения о нем зачастую противоречивы.

С другой стороны, под псевдонимом «Вега» в 1900-х годах выступал, к примеру, некий инженер-поручик В. Ф. Павлов, а беллетристка В. О. Гейман (возможно, связанная родственными узами с упомянутым выше В. В. Гейманом) использовала псевдоним «Граф Валериан Вега».

В 1912-1914 гг. в Петербурге под псевдонимом «Вега» были изданы три тома «Апокрифических сказаний о Христе» («Книга Никодима», «Книга Марии Девы» и «Книга Иосифа Плотника»).

Роман «На вершинах знания» публикуется по первоизданию в сопровождении оригинальных иллюстраций. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Имена собственные и термины оставлены без изменений.

Издательство приносит глубокую благодарность Александру Степанову за предоставленную для работы копию книги.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.